



# Эдуард Асадов

Любовь  
побеждает зло

Интервью  
у собственного  
сердца

Эдуард Асадов

**Интервью у собственного  
сердца. Том 2**

«ЭКСМО»

1990

УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

**Асадов Э. А.**

Интервью у собственного сердца. Том 2 / Э. А. Асадов —  
«Эксмо», 1990

ISBN 978-5-04-118700-2

Что связывает Эдуарда Асадова с лордом Вильямом Норманом? Или с Николаем Чернышевским? Как прихотливо иногда переплетаются судьбы людей, казалось бы далеких друг от друга, как Южный и Северный полюсы, и формируют уникальный характер талантливого человека. История целого рода оживает на страницах автобиографии- исповеди Эдуарда Асадова – живо, увлекательно, очень честно, но не назидательно. О драматичной судьбе поэта сквозь призму исторических и литературных событий и историй любви его предков и сформировавших особенные жизненные принципы рода, которые и помогли выстоять, быть бесстрашным, честным в самых трагических обстоятельствах судьбы. И о безграничной любви, которая преодолевает все.

УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-118700-2

© Асадов Э. А., 1990  
© Эксмо, 1990

# Содержание

Военным громом опалены	6
Конец ознакомительного фрагмента.	40

**Эдуард Аркадьевич Асадов**  
**Интервью у собственного сердца. Том 2**

© Асадов Э.А., наследник, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021



## Военным громом опалены

*(Продолжение)*

Взрыв снаряда утром 4 мая 1944 года, словно страшный горный обвал, разделил дорогу надвое, отрезав от меня навсегда цветы, горящие всеми яркими красками, что дарует природа, россыпи звезд ночного неба, серебристо-брусничный блеск реки на рассвете, зеленую песню тайги, свет театральных рампы и киноэкранов, ласковые улыбки и взгляды – горячее многоцветье юности да и вообще жизни...

Готов ли я был к совершенно иным измерениям и новым путям моей судьбы? Разумеется, нет. Да, я, конечно же, знал, что война есть война, что могу быть раненым или убитым. Но знать это все же одно, а свалиться – другое. Если бы задали мне вопрос, какой отрезок жизни был для меня самым тяжелым? Я бы ответил: первые месяцы после ранения. Ибо переход от состояния, когда у тебя есть все: и молодость, и здоровье, и славная внешность, и друзья, и сердечные взгляды, и мечты, и надежды, и силы, – к мгновенному провалу, туда, где нет ничего, абсолютно ничего, кроме мрака, отчаяния и боли, – такое усвоить непросто.

Больше месяца я находился между жизнью и смертью, большую часть времени пребывая на «той» стороне, чем на этой. В сознание приходил редко, и то на короткое время. А потом, через месяц, медленно и с большим усилием все-таки переполз сюда, на «эту сторону». Переполз и понял, для того чтобы жить, бороться и завоевывать в этом мире какие-то высоты, нужно многое, и прежде всего воля, и даже не просто воля, а воля в квадрате. А первое испытание этой воли произошло довольно скоро при попытке перевезти меня из госпиталя в городе Саки в Симферополь. Ходить и даже просто вставать я тогда еще, естественно, не мог. Почему меня так скоро решили эвакуировать, я не знаю. Может быть, не хотелось возиться с таким тяжелым больным, как я, а может, хотели передать меня в более опытные врачебные руки, но как бы то ни было, меня отправляли. Натянули мне брюки, гимнастерку, сапоги, переложили, как мешок, с кровати на носилки и понесли. Но, видно, для таких путешествий я еще не годился. Едва меня вынесли на улицу и стали грузить в машину, как из лица у меня хлынула кровь, да так сильно, что меня почти бегом потащили обратно и, не снимая гимнастерки и брюк, сразу же положили на операционный стол. Подбежавшая ко мне хирург Тамара Тихоновна Егорова быстро и жестко сказала:

– Слушайте, лейтенант... у меня мало времени. Анестезию сделать не успею... Надо перевязать артерию, чтобы остановить кровь. Буду резать прямо так, по живому... Даже к столу привязывать тебя не буду... некогда. Выдержишь?

Я коротко сказал: «Да...»

Что я чувствовал, говорить не буду. Скажу только, что когда тебе без всякой анестезии режут на шее кожу и мышцы и копаются там внутри, перевязывая артерию, а потом снова все зашивают – ощущение не для слабонервных! Но я вспомнил железную волю своего отца и не застонал, не охнул ни разу. Кончив экзекуцию и бросив на стол перчатки, Тамара Тихоновна удовлетворенно сказала:

– Ну что ж, Эдуард, молодец! Тебя ведь Эдуардом зовут, правильно? Ну, жить тебе сто лет! Честно говоря, боялась, что не выдержишь. Ты в Москве живешь? Я тоже, возможно, после войны встретимся.

И мы действительно встретились в Москве в Центральном институте травматологии и ортопедии в 1950 году. На верхнем этаже института была зубная клиника, где я лечил зубы. И вот когда «зубная царица» профессор Померанцева уже цементировала мне пломбу, в каби-

нет под предводительством главного врача вошла шумная группа докторов-ординаторов. Они громко заговорили на свои профессиональные темы, и среди многих голосов я узнал один очень знакомый... ну просто очень... Приплюснув кусочки цемента, я громко сказал:

– Тамара Тихоновна, это вы?

От группы врачей отделилась женщина, быстро подошла и, взяв меня за руки, взволнованно спросила:

– Постойте, постойте, что-то очень знакомое... Ну конечно, я же вас оперировала... И зовут вас... – она замялась.

– Эдуард Асадов! – сказал я. – Вы еще предсказали мне долгую жизнь.

– Да, сто лет, не меньше, – ответила она, – теперь узнала... здравствуйте, славный мой, здравствуйте!

И вдруг, заплакав, обняла меня и поцеловала.

– Ну как же! Сто лет вам предсказывала, а надежды на то, что сумеем вас вытащить, было все-таки маловато. Теперь могу вам это сказать.

Вот такая произошла тогда встреча. Тамара Тихоновна была уже женой очень крупного генерала, но врачебную работу свою не бросала. И поставила на ноги еще много-много людей.

Но вернемся в лето тысяча девятьсот сорок четвертого. В госпиталь в Саках, туда, где начиналась моя новая, сложная и совсем незнакомая жизнь. И если вы спросите, откуда черпал я силы? Что помогало мне взять множество разных высот? И я отвечу вам так: у силы этой было множество составляющих. Тут и великая сила жизни, помноженная на молодость, и высокая цель, которую я выбрал и решил непременно достичь, и гордость и самолюбие (да, а почему бы и нет?). Отчего люди, порой абсолютно посредственные и даже пустые, все преимущество которых заключалось только в том, что они волею судьбы в годы войны остались невредимы, должны жить как победители этой жизни, весело, сытно и хорошо, а я буду где-тодохнуть и прозябать?! Нет, это мне не годится! Но была и еще одна сила. Та сила, значимость которой не только трудно, но и просто невозможно переоценить. Милые женщины! Чего только не случилось на свете: и радовали вы меня и огорчали. И спорил я с вами, и ссорился, да и сердиться доводилось мне тоже. Но все это в сутолоке жизни, в быту, в суете. А вот по большому, по глобальному счету, в вопросах, где решается иногда практически все, в поступках, где как в капле воды, отражается сущность души – кто он: человек или дрянь? – в бесстрашии решений, в твердости духа, там, где мужчины порой только трусливо вильнут хвостом, в доброте и надежности, да мало ли еще в каких замечательных качествах, не было равных вам никогда и нигде. И без вашей поддержки, любви и сердечности, которые, как свежий весенний ветер, надували мои паруса, не смог бы я доплыть сквозь все штормы и бури до Острова моих надежд и сделать даже четверти того, что удалось мне все-таки сделать! Спасибо вам во веки веков! И в самом деле, разве забуду я руки, которые бинтовали, лечили и кормили меня с ложечки. Они не гнушались ни кровавых тампонов, ни швабры, ни судна. Они утешали и поддерживали. Слабые, они были порой сильней, чем сталь. Полные доброты, они утешали в беде, гладили мои волосы и дружески подставляли плечо. И когда было мне трудно, они обнимали меня в знак любви и уверенности и вселяли в меня новые силы. Как же я могу это хоть когда-то забыть?! И когда случилась со мной беда, не все мужчины – мои товарищи и друзья оказались рядом. Не все выдержали этот трудный экзамен жизни. Узнав о моем ранении, мой друг и товарищ Толя Изумрудов написал в письме: «Передайте Эдьке, чтобы не журился». После этого исчез и больше уже не объявлялся никогда. Не хотелось бы об этом говорить, но из песни ведь слов не выкинешь. Навестили меня по разу в московском госпитале мои боевые товарищи, с кем делили и жизнь, и смерть, и радость, и горе, Борис Синегубкин и Юра Гедейко, сказали несколько дружеских слов и ушли на долгие-долгие годы... ушли, чтобы смущенно поздороваться со мной уже почти через тридцать лет... Нет, я не сержусь и не обижаюсь на них сегодня. Больше того, я написал о них в своей книге «Зарницы войны» немало добрых и веселых слов. Тогда

обижался, печалился. Что было, то было. А сейчас уже абсолютно нет. Пусть всякий живет так, как он может. У каждого есть в мире свой потолок! И если ласточка родилась ласточкой, не требуйте от нее полета орла. Вот и все. Однако ушли от меня в ту годину, признаться, не все. Иван Романович Турченко и Николай Никитович Лянь-Кунь остались моими друзьями на всю оставшуюся жизнь. Особенно тронул меня своими заботами Турченко. В голодные студенческие годы, работая директором серпуховского мясокомбината, он изо всех сил старался поддержать меня, что называется, на плаву, привозя мне то мясо, то сало, то колбасу. Он мог бы этого, конечно, не делать. Сослался бы на расстояние, на занятость, на дела, и гуд бай. И все было бы верно. Но друг ведь не зря познается в беде. Именно в ней-то он и познался. И все-таки я благодарен ему не только за сало и колбасу, а несравнимо больше еще за верность, за надежность, за чуткое сердце. Так было с мужчинами. Что же касается женских сердец, то тут потери были значительно меньше. Общаясь со мной в военные годы значительно реже, чем мои боевые друзья, они тем не менее в очень сложный и горький час оказались верней и надежнее многих. Ну чем особенно я был связан с девушками, которые приходили ко мне в московских госпиталях? Ну был знаком, да и только. И никаких обязательств передо мной у них вовсе не было. А они приходили и сидели возле моей кровати часами. И не просто сидели, а щедро дарили тепло своего сердца. Но эти девушки хотя бы были знакомы, а та молоденькая повариха в городе Саки? Кажется, ее звали Наташей. Она видела меня в госпитале впервые. Откуда ж взяла она такое светлое душевное тепло? Какое? А вот какое: после того как меня прооперировали по поводу перевязки артерии, я был снова водворен в ту же палату. И так как состояние мое было тяжелым, то есть мне совершенно не хотелось, да и ел я мало и с большим трудом. И вот каждое утро прибегала ко мне из кухни молоденькая повариха-украинка и певучим ласковым голосом спрашивала меня о том, что бы я хотел съесть. Ну и перечисляла свои блюда и кулинарные возможности. А мне было, в общем-то, все равно, и ее это огорчало. Она не обижалась на мои отказы, а терпеливо стояла и, желая вызвать у меня аппетит, красочно расписывала разные борщи и тефтели. Однажды, когда я чувствовал себя особенно плохо и был не в духе, я ей сказал:

– Ну что вы все меня уговариваете: надо кушать да надо кушать. А чего мне кушать, когда неизвестно даже, надо мне жить-то на свете или не надо?

Она рассердилась:

– Это как же еще не надо? Вон вы какую операцию перенесли и даже не застонали. Я же знаю. Поправитесь, женитесь и как еще заживете!

Я с раздражением буркнул:

– Хватит вам сказки рассказывать. Да кому я теперь понадобится могу, такой красавец...

Ни секунды не колеблясь, она шагнула к моей кровати и горячо сказала:

– То есть как же это кому? Да хотя бы мне! Я за вас замуж пойду. Я вашу фотографию на удостоверении видела. Парень вы хоть куда! А то что сейчас ранены, так ведь это же вы за народ, за победу нашу страдали. И потом с лица не воду пить. Я за вас пойду! Не верите? Увидите сами. Если вас куда увезут, то запомните, меня зовут Наташа. Поправитесь, приезжайте в Саки, спросите в госпитале Наташу Иваненко. И какой вы там будете, здоровый или не здоровый, я не боюсь. И работу найдем, и жить будем, аж чертям тошно станет! Короче говоря, если не передумаете – приезжайте. А я не обману. Это точно!

Не знаю, насколько серьезными были эти слова. Может быть, да, а может быть, нет, но столько было в этом голосе тогда уверенности, теплоты и духовной щедрости, что действие их было сильнее любых лекарств. Значит, чего-то я еще стою, если ради меня говорятся вот такие слова! До сих пор вспоминаю о ней с благодарностью!

Ко времени прибытия в госпитали Москвы я несколько окреп и мог не только сидеть, но и ходить по палате. Мир так устроен, что когда человеку хорошо, то вокруг него масса всевозможных друзей. А когда ему плохо, то чаще всего рядом с ним никого. В первые месяцы, когда

я лежал в госпиталях городов Саки, Симферополь и Кисловодск, как это нетрудно понять, был я абсолютно один с неожиданно навалившимся горем, с разноречивыми мыслями, сомнениями и призрачными надеждами. Когда же я оказался в Москве, сначала на Усачевке, в госпитале 46–41, а потом в ЦИТО – Теплый переулок, 16 (теперь улица Тимура Фрунзе), то здесь, слава Богу, одиночеству моему пришел конец. Появился друг по госпитальной палате старший техник-лейтенант Борис Самойлович Шпицбург, или просто Боря, с которым мы подружились сразу и на всю жизнь. Он читал мне газеты и книги, разгонял горькие мысли добрым словом и шуткой. Когда меня оперировали, терпеливо сидел возле операционной, потом спрашивал у входящих и выходящих сестер: «Танечка, ну как Асадов? А что ему сейчас делают? А состояние какое?»

Милый мой, добрый Боря! Да, я отлично знал, что ты сидишь там под дверью. Что ты смотришь на часы и волнуешься за меня. И от этого мне было немножечко легче. И когда должны были «подрезать» тебя, ты тоже знал, что я о тебе беспокоюсь и что первым, когда тебя привезут на каталке, кто станет у твоей кровати, буду я. Нас сдружили с тобой и горькие дни, и общие взгляды, и способность шутить в самые трудные минуты, и любовь к людям, и многое, многое другое. И то, что мы встретили друг друга, это наш общий выигрыш, выигрыш на всю оставшуюся жизнь!

Навещал меня в госпитале Иван Романович Турченко, он теперь служил в Наркомате обороны и, посещая меня, рассказывал все военные и служебные новости. И Коля Лянь-Кунь, когда оказывался в Москве, навещал меня тоже. Полковником он тогда еще не был, но дослужился уже до майора. Он был, как всегда, немногословен, но полон самой настоящей сердечности, которую сымитировать нельзя. И все-таки главными моими посетителями, а точнее, посетительницами, стали тогда девушки. И приходили они практически всегда. Одноклассницы, соседки по дому и просто знакомые, они прибежали ко мне кто чаще, кто реже, улыбались, говорили приветливые слова, изо всех сил старались влить в мою душу как можно больше света, бодрости и тепла.

Во всякой стране в каждую эпоху свой духовный настрой, своя общественная погода. В конце войны и в первые послевоенные годы в стране царил, если так можно сказать, дух горького возрождения. Весь драматизм войны, конечно, остался. Ни погибших, ни раненых не вычеркнуть из души и не забыть никогда. Это так. Но вместе с тем война уже разжала пальцы, что были на шее Москвы и Ленинграда, и отступала все дальше и дальше на запад. И все наше государство, перенесшее смертельную опасность, словно переживший кризис больной, расправляло плечи и, предвосхищая победу, уже готовилось к новой жизни. Жены и девушки писали письма на фронт, некоторые из этих писем публиковали в печати, читали по радио. В стихах, песнях и рассказах воспевалась любовь, настоящая, верная, на всю жизнь. Песня на слова Суркова «Землянка», стихотворение Симонова «Жди меня», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», роман Василевской «Радуга» и множество песен на слова Фатьянова читались, пелись и были у всех на устах, сердечное счастье и горечь потерь то взвивались кострами, то чадили удушливым дымом практически рядом, на глазах у всех и были видны ярко и выпукло, как сквозь увеличительное стекло. Помню, как лежал со мной в палате раненый художник Телепнев. У него была оторвана нижняя челюсть. Говорил он очень неразборчиво и ел с колоссальным трудом с помощью воронки. Но как же трогательно и нежно ухаживала за ним жена. Она приходила почти ежедневно, кормила, поила, что-то тихонько шептала ему на ухо. И было столько между ними не показного, а подлинного тепла, что было ясно – это любовь такая, которая не кончится никогда. И тут же рядом, только в противоположном углу, прямо за кроватью Шпицбурга лежал летчик Пасечный. С самого начала войны он летал с английской территории бомбить Берлин и другие германские города. Однажды бомбардировщик его был подожжен взрывом зенитного снаряда. Пылающий, как факел, самолет Пасечный все же дотянул до британского берега. Бомбардировщик он посадил, но самого его из кабины

уже вынимали другие. Лицо у Пасечного было разбито и обожжено. Его положили в челюстно-лицевое отделение английского госпиталя и крупный английский хирург-пластик с профессорским званием взялся помочь храброму русскому и пообещал сделать ему новое превосходное лицо. Но когда он уже приступил к операциям, в госпиталь пришел представитель нашего посольства и спросил:

– Вы любите свою родину?

– Да, конечно.

– И вы являетесь коммунистом?

– Разумеется.

– И вы мечтаете о скорейшем возвращении на родину? Не так ли?

Вопрос застал Пасечного врасплох. Да, на родину он, конечно же, рвался. Во-первых, отчизна есть отчизна, а во-вторых, дома его верно ждала жена, молодая и красивая, с которой он прожил всего три года. Но сначала он хотел, чтобы ему закончили все операции. Профессор был мастер своего дела и брался за работу охотно. Поэтому возвращаться сразу не имело смысла. Но представитель посольства думал иначе. В те времена мы избегали контактов наших людей с иностранцами. Он сказал, что хирурги-пластики есть и у нас, поэтому надо немедленно возвращаться домой. Делать было нечего. Пасечный человек военный, а приказ есть приказ. Единственно, что успел Пасечный сделать в Англии, так это купить себе патефон с набором эмигрантских пластинок Петра Лещенко. Вот таким-то образом и оказался Пасечный в Москве, в нашей палате, с набором пластинок и всеми своими переживаниями. А для волнений у него, конечно же, причина была. Он ждал прихода своей красивой супруги. Нет, в любви ее он, разумеется, не сомневался, но все-таки операции на лице еще только успели начаться. И надо сказать, что волновался не только он, волновалась за него вся госпитальная палата. Молодая жена пришла. Посмотрела внимательно на обожженное и побитое лицо мужа и не сказала ни слова. В глазах ее не было ни испуга, ни разочарования. Она посидела сколько положено. Рассказала все домашние новости. Ласково простилась. Ушла. И не пришла больше уже ни разу... Шли дни, недели и месяцы. И становилось абсолютно ясно, что женщина ушла навсегда. Пасечный переживал тяжело. Нет, он не жаловался никому. Но стал с этих пор сдержан, молчалив и никогда не улыбался, даже самым развеселым шуткам. Целыми днями он либо молча читал книги, либо так же молча крутил лещенковские пластинки.

Татьяна, помнишь дни золотые?

Кусты сирени и луну в тиши аллеи...

Или:

Прощай! Прощай!

Прощай, моя родная!

Не полюбить мне в жизни больше никого...

Молчали и мы, слушая эти пластинки и думая каждый о своем. Да, в годы войны все свойства человеческих характеров проявлялись особенно ярко и остро, как плюсы, так и минусы. Что же касается военных госпиталей, то здесь все эти качества проступали еще сильнее. И радости и драмы совершались почти ежедневно у всех на глазах. Вот заходил иногда к нам в палату из хирургического отделения майор Саша Буслов. Ранение у него было такое, что хуже, кажется, и придумать нельзя. У Саши не было глаз и кистей обеих рук. Но человек этот не пал духом и ни разу не пожаловался никому на свое горе. Чтобы уйти от тяжелых дум, он словно бы включил в душе своей все аварийные кнопки жизнелюбия и оптимизма. Войдет в палату, сядет на чью-нибудь кровать и, улыбаясь, скажет:

– Доброе утро, товарищи! Как самочувствие? Какие жалобы? Питание приличное? На клизму никого не надо назначить?

– Саша!.. – скажет кто-нибудь ему ласково. – Заходи, заходи. Курить будешь?

– Ну что ж, – откликнется Саша, – курить не работать. Это я готов всегда. Вынь у меня из нагрудного кармана мундштук, вставь папиросу и зажди, а уж дальше я сам. Рукава у Сашиной пижамы засучены до локтей. А мундштук ему нужен для того, чтобы удлинить папиросу, которую он ловко берет своими култышками. У Саши в Москве жена и десятилетний сын. Но жена, узнав о его ранении и убедившись во всем лично, моментально его бросила. У сына же было куда более доброе сердце, и он продолжал прибегать к отцу. Однажды Саша затосковал по дому. То ли сын разбередил ему сердце рассказами о школе и семейных делах, то ли просто захотелось ему подышать, что называется, родным воздухом, посидеть на своей кровати, включить знакомый динамик радиосети, этого я не знаю. Но только стал он просить врачей разрешить получить ему в каптерке обмундирование и отпустить на несколько дней домой. Там в доме ждала его старенькая мать, приехавшая из Воронежа. А идти домой Саша решил вдвоем с сыном. Парнишка был самостоятельным и серьезным и довериться ему было можно. Разрешение Саша получил, но уйти в назначенный день не ушел. Неожиданно перед обедом он вошел к нам в палату. Моя кровать стояла справа у самой двери. Саша вошел, подсел ко мне и чуть слышно сказал:

– Эдуард, ты здесь? Не спишь?

– Нет, Саша, конечно, не сплю. А почему ты не ушел домой? Я думал, ты давно уже убрался восвояси.

Вместо ответа Саша глубоко вздохнул, а потом сказал:

– Вынь у меня из кармана пачку папирос и прикури, а я объясню ситуацию.

Глубоко затянулся дымом и каким-то незнакомым глуховатым голосом сказал:

– Тут, понимаешь, неожиданная осечка вышла... Какой я и предвидеть не мог. Моя бывшая жена испугалась, что я буду претендовать на раздел квартиры. А квартира-то, Господи, полторы крохотных комнатенки! И задумала она любопытный фокус-покус. Какой? Ни за что не поверишь. Подозвала она огольца моего и говорит, это он мне сейчас рассказал, ну так вот, подозвала и говорит: «Ты уже большой, и с тобой можно говорить о серьезном. Смотри, то, что я тебе сейчас скажу, не рассказывай никому, не то я отвинчу тебе голову. Папа твой все равно уже не человек. И себе не в радость, и людям в тягость. Ты, когда будешь переходить с ним трамвайную линию, подожди, когда будет идти близко трамвай, а тогда и переходи. И когда трамвай будет совсем близко, ты оставь папу посреди рельсов, а сам беги на другую сторону и домой. Как будто испугался. Ты маленький, никто тебя винить не будет. Повторяю, ты сделаешь отцу только доброе дело. Избавишь его от несчастной жизни. Сделай, как я сказала. А если, повторяю, скажешь кому-нибудь слово – пощады не жди!» – Ну как, сын, правильно я говорю? – спросил Саша.

И детский голосок, всхлипнув, ответил:

– Правильно. Только ты все равно хороший. И я буду жить с бабушкой и с тобой.

Мы с Борей Шпицбургом и с теми, кто слышал этот разговор, заговорили бурно и возмущенно. Стали решать, как притянуть мерзавку к ответу. Но Саша, успокоившись, тихо сказал:

– Не буду я ее никуда привлекать. Женщин тут нет? Вот и хорошо. Пошла она к такой-то маме, вот и все. Черт с ней. Пусть подавится квартирой. Я получу себе новую. Мне маршал Воробьев обещал.

В армии Саша был сапером. И несчастье случилось с ним, когда он разряжал мину. Она взорвалась у него в руках. Вот он и надеялся на поддержку маршала инженерных войск. И как потом оказалось, не зря. Заканчивая разговор о Саше, хочу сказать вот что: когда человек попадает в драматическую ситуацию, выход у него один. Нужно собраться, мобилизовать все физические и духовные силы для того, чтобы найти себя в жизни и трудом своим достичь

таких рубежей, чтобы стать наравне со всеми и даже, может быть, на ступеньку выше. Вот тогда ты будешь и интересен, и нужен и вокруг тебя будут и товарищи, и друзья, и любовь будет, и многие победы и радости тоже. Об этом я много раз говорил Саше. Теоретически он соглашался. Но вот практически... Практически ему изо всех сил помогали оставаться не у дел. Да, причина в том, что родная Сашина сестра была замужем за министром рыбной промышленности. Брала Сашу в свой богатый дом и вдвоем с мужем, очень добрым человеком, окружали Сашу теплыми заботами и закармливали севрюгами и балыками. И Саша как-то расслабился. Приготовился к подобной жизни навек. Он даже женился на приятной молодой женщине Вале Новиковой. Получил через маршала квартиру и поселился там с новой женой. А сына все-таки забрала прежняя его жена. Но тут он ничего не смог поделать. Так присудил закон. Увидев Сашу с женой в одном из крымских санаториев, Петр Павленко опубликовал в газете «Красная звезда» огромный очерк в полполосы: «Большое сердце». Думаете, про Сашу? Нет, про его жену. Да, она была симпатичная женщина. Но она-то все-таки была рядом и пользовалась всеми льготами и благами, которые распространялись на Сашу, а темно-то все-таки было ему, а не ей, и все тяжести судьбы свалились на его плечи. Но люди, видя раненого человека рядом с женой, восторгаются чаще всего не его силой и мужеством, а ее добротой и заботой. Вот так и получилось со статьей Павленко. Саша с его горькой судьбой, с его победившим беду оптимизмом, с его неунывающим характером и добротой оказался в очерке словно бы за экраном, а на переднем плане – Валя, прожившая с ним всего один год и, несмотря на «большое сердце», бросившая мужа полгода спустя. Саша был волевым человеком, жизнелюбом и веселым рассказчиком. Он мог как член партии и фронтовик пробиться на учебу в партшколу и стать превосходным лектором на самые животрепещущие темы. А он расслабился от забот и балыков в министерском доме и советов моих не послушал. Поменял потом московскую квартиру на Воронеж, где жила его мать, и зажил тихой жизнью пенсионера. Ранение у него было тяжелейшее, тут нечего и говорить, но все-таки сделать он мог гораздо больше. Да, много было в ту пору удачных, и неудачных, и разбитых, и нелепо склеенных, и просто несостоявшихся судеб.

Лежа в палате долгими бессонными ночами, размышлял о своих проблемах и я. Все приходилось начинать сначала, с абсолютного нуля. То есть все делать самостоятельно: и ходить, и писать, даже держать как следует ложку и бриться, да всего и перечислить нельзя. Но главное, это работа, дорога, по которой предстояло идти. Правда, это еще не сейчас, не сразу, впереди операции. Но все равно думать надо было уже теперь. И я снова писал стихи и упрямо стремился записывать их сам, и только сам. И будь я в ту пору одинок, совсем бы мне пришлось тяжело. Но в Москве ко мне приходили друзья-товарищи, о которых я уже говорил. Приходили девушки, с которыми я когда-то учился, был просто знаком или жил по соседству. Кира Соя-Серко. Помните, веселая, похожая на мальчишку. Пришла и другая одноклассница, тихая и задумчивая Рита Бирж, шумно заявила прямо с войны в сапогах и морской форме Сара Певзнер, отыскала и пришла ко мне в госпиталь Шура – та, о которой написана поэма «Шурка», все чаще и чаще стала навещать меня Наташа – соседка моя до квартиры, довольно часто прибивала Лена, моя ровесница, с которой я был знаком по квартире моей тети. Приходили Нина и Лида – каждая в отдельности. Одни дружески болтали и рассказывали мне все новости, другие задумчиво улыбались и говорили многозначительные слова, третьи были немногословны и больше прислушивались к тому, что говорил я. Одни приходили раз или два, а потом с чувством хорошо выполненного долга больше не возвращались. Пришла, например, одноклассница Шура Харламова, приветливая хохотушка. Во время войны она стала мамой и явилась ко мне с четырехлетней дочкой. Посидела, дружески пощебетала и больше не пришла. А вот другие девушки, среди которых были и Наташа, и Лена, и Лида, стали приходить все чаще и чаще.

Когда говорят, что мир состоит только из одной материи, – это звучит убедительно. И в юности своей я рассуждал так же категорично. Есть только то, что я вижу и знаю, а того, что мне неизвестно, конечно же, не может быть! Став значительно старше, я все больше и больше

начал сомневаться в неопровержимости таких утверждений. И мог бы когда-нибудь привести множество соображений на этот счет. Но сейчас отвлекаться не буду, а выскажу только одну мысль: ну чем, скажите, кроме милости судьбы, можно объяснить такую вещь. В палате, где я лежу, двадцать пять молодых офицеров в возрасте от двадцати до тридцати лет. Я один из самых тяжелых, в то время как вокруг немало ребят с довольно простыми ранениями, ну, скажем, сломана переносица или оторваны часть уха и полгубы. Сделали, скажем, человеку утром перевязку, и весь день он свободен. Кровь молодая, энергии много. Вот и стараются хлопцы знакомиться с шефами, девушками соседней фабрики, вот и бегают к телефону-автомату, отчаянно приглашая подруг и знакомых прийти на свидание, вот и строчат открытки и письма и женам, и неженам, и Бог знает кому еще... И вот, повторяю, разве это не добрая улыбка судьбы, что больше всех девушек постоянно приходило не к ним, а ко мне, самому тяжелому, если не считать танкиста Саши Юрченко, из всех двадцати пяти офицеров. Сначала ребята удивлялись такой, с их точки зрения, несправедливости, потом, не без зависти, смирились, привыкли и обратились к своим повседневным делам. Впрочем, кроме доброй улыбки судьбы, была тут и еще одна причина, ну психологического, что ли, характера. Все девушки, приходившие ко мне, видели меня до ранения много-много раз. Сейчас перед ними лежал человек с туго забинтованным лицом так, что виден был только кончик носа да лоб. Но память их цепко хранила черноглазое, живое и, кажется, симпатичное и жизнерадостное лицо. И один образ неизменно накладывался на другой. Помните, как у Тютчева!

Я встретил вас, и все былое  
В отжившем сердце ожило.

И далее:

И то же в вас очарованье,  
И та ж в душе моей любовь!

Даже спустя долгие-долгие годы образ юной девушки наложился на морщины семидесятилетней старушки, навестившей умирающего поэта, и старость отступила перед памятью любви:

И то же в вас очарованье...

И если память способна побеждать и старость и время, то что же говорить о временном расстоянии всего в год, два или три?! Даже тяжелораненый, я все-таки в какой-то степени продолжал оставаться для них одних тем же одноклассником Эдькой из десятого «Б», а для других – молодым подтянутым офицером-фронтовиком, не остывшим еще после поля боя. И все-таки справедливость требует, вероятно, сказать еще и другое. Наверное, и в раненом сохранились во мне и упрямая энергия, и характер, и довольно ощутимый огонь души. Ну и голова какая-никакая была на плечах. Значит, был еще порох в пороховницах. И надежда в душе жила!

Одновременно к больному мог прийти только один посетитель. Если же приходил второй, то должен был ждать в приемном покое, пока первый посетитель спустится и передаст ему халат. Видимо, перегнув палку с тяжестью ранения, судьба решила компенсировать мне этот перебор женским вниманием и нежностью. В первую половину дня посетителей не пускали: врачебный обход, процедуры, перевязка и прочее и прочее. Утром же проходили и все назначенные операции. Гости приходили после трех часов. Правда, к самым тяжелым больным посещения разрешались и утром. Так что ко мне девушки приходили нередко прямо с утра.

Например, Наташа работала в разные смены, поэтому когда она шла во вторую, то приходила часам к десяти-одиннадцати утра и сидела у меня до обеда. Когда же она спускалась вниз, то там в ожидании халата уже сидела Лена, после Лены приходила Лида и сидела уже до отбоя. Разовые посетители постепенно отсеивались, потом приходили другие и тоже уходили. Иными словами, тут была текучка. Тем не менее из постоянных посетителей образовалось основное ядро. Я был рад этим посещениям, но в чувствах не объяснялся никому. Да и как можно было решать тут какие-то вопросы, если не было у меня еще никакого будущего и впереди ожидали новые операции. Милые девушки, они, наверное, все это чувствовали и взяли инициативу в свои ласковые и теплые руки. Первой решилась сказать мне о своих чувствах Наташа. Как-то утром, сидя возле меня, она долго молчала, отвечала на мои вопросы односложно и рассеянно, словно была где-то далеко.

– Что с тобой? – спросил я, несколько озадаченный.

– Что со мной? – мягко переспросила она. Еще с минуту помолчала, а потом, нагнувшись, тихо взяла мою руку в свои и, волнуясь, сказала: – То, что я тебе сейчас скажу, это все не случайно, а очень серьезно. Если тебе нужна моя любовь и нужна я, то считай, что они у тебя есть. Ошибок тут быть не может. Мы с тобой уже давно живем в одной квартире и знаем друг друга достаточно хорошо. Разве не так? Вот знаешь, когда-то еще до войны ты мне нравился. И когда после приезжал в Москву, тоже нравился, даже еще больше, но вот о любви я как-то не думала. Ну, не ощущала в себе ее, что ли. А вот когда в первый раз увидела тебя в госпитале всего забинтованного, то знаешь, как ни странно, но именно в эту минуту я ощутила и боль и поняла, что я тебя люблю. Можешь мне пока ничего не отвечать. Времени впереди много. Подумай. Помни только, что я сказала все очень серьезно.

В это время в палату вошла медсестричка Таня, как всегда, разговорчивая и веселая. Ее руки и карманы были полны всевозможных бинтов, мазей, банок и склянок. Бодро поздоровавшись и привычно спросив о самочувствии, она обратилась к Наташе:

– Я сейчас буду делать Асадову перевязку. Поэтому прошу вас посидеть немного в коридорчике. Минут через десять я вас позову.

Но я твердо сказал:

– Не надо, Танечка. Пусть сидит.

Таня была человеком сообразительным. На ее глазах возникали и рассыпались человеческие союзы, загорались сердца радостью и потухали в безнадежном отчаянии, видела она и правду, и хитрость, и верность, и ложь, так что удивить ее было практически невозможно. И на этот раз она моментально все поняла. Улыбка ее погасла, и каким-то строгим, почти экзаменаторским голосом она сказала Наташе:

– Хорошо. Оставайтесь и сядьте сюда, вот на этот стул, тут удобней.

Я напряженно и не без растущего раздражения молчал. В конце концов, если она читалась газет с лирико-патриотическими статьями Елены Кононенко и Татьяны Тэсс и наслушалась радиопередач вроде: «Пишу тебе на фронт, любимый!» – пусть сидит и смотрит на все без прикрас... А рана у меня была – для впечатлительных натур отнюдь не подходящая. Дыра в физиономии такая, что можно было бы засунуть целый кулак. Я уж не говорю про такие подробности, как, извините, кровь, гной и прочие прелести. Все понимающая Татьяна разбинтовывала меня медленно, а сняв весь бинт до конца, неожиданно сказала:

– Ой, я, кажется, забыла широкий бинт. Вы тут посидите несколько минут, а я сейчас вернусь.

Чтобы опытнейшая Татьяна когда-нибудь забыла хоть что-нибудь из своего перевязочного хозяйства, не было да и никогда не могло быть. Это она сделала нарочно. Дескать, проверять так проверять. Натэ, смотрите, девушка, и решайте, любовь у вас или не любовь.

Видимо, и Наташа поняла всю эту сцену. Она придвинула свой стул еще ближе к кровати и улыбнулась:

– Ты что же это? Решил напугать меня своим ранением? Глупый ты, глупый...

Она нагнулась и поцеловала меня прямо в раненое лицо. Очень скоро, примерно через неделю, о любви своей и о желании быть постоянно со мною вместе сказала и Лида. Признаюсь, что ей я устроил точно такой же экзамен, как и Наташе. И к чести ее должен сказать, что ни рана, ни кровь ее не устроили тоже.

– А я уже один раз твою перевязку видела. И сегодня, по-моему, все у тебя даже немножечко лучше. Хочешь, женись на мне, хочешь, не женись, а я все равно с тобой буду всегда и везде.

О любви своей сказали мне также и Нина, и Лена, и приехавшая с фронта Шура.

Жил я в те дни трудной и напряженной жизнью. Рано утром, когда все в палате еще крепко спали, я доставал из тумбочки карандаш и лист бумаги в специально придуманной мною для работы папке и писал стихи. Было тихо-тихо. Никто не мешал, и можно было целиком сосредоточиться на своих мыслях и строчках. И хотя я много думал и о своем месте в жизни, что ждала меня там, за госпитальными стенами, и об операциях, все-таки двенадцать раз забраться на операционный стол не такая уж простая штука, тем не менее посещения девушек, а главное, их слова, оставить меня равнодушным не могли никак. Я понимал, что мама меня любит и будет мне всегда рада, но идти снова к ней и к отчиму я не хотел. Жизнь надо было начинать самостоятельно. А так как в одиночку я сделать этого никак не мог, значит... Значит... Значит, я должен был в конце концов что-то решить и сделать выбор. Что касается Нины, то тут все было ясно сразу и до конца. Чувственная, влюбчивая и злая, она никому не могла стать ни добрым другом, ни верной женой. Да, я всегда хотел принять горячее участие в ее судьбе, но никаких чувств у меня к ней не было никогда. Нина же, напротив, решила, что после того, как я был ранен на фронте, шансы наши вроде бы уравнились. Никогда и ни к кому настоящей любви у нее не было. Такое ей просто не было дано. И меня она попросту «вычислила». Надо признаться, что мне потом пришлось затратить немало духовных сил, чтобы убедить ее в том, что подлинных чувств у нас друг к другу нет, а потому не может быть и никакого счастья. Впрочем, ее счастье было совершенно иным. Оно в глубоких и сильных чувствах совсем не нуждалось. Ее цепкий и расчетливый мозг строил свое благополучие на сплошном практицизме. Она никому и ничего не давала, она только брала. Будучи несчастным ребенком и поставив человеческое сочувствие себе на пользу, она привыкла с раннего детства требовать к себе внимания и жить только за счет других. И такой она фактически была всю свою жизнь. Нет, мне нужно было все совершенно иное. Сколько я себя помню, я всегда был стопроцентным романтиком. Моей стихией были мир поэзии, театра и книг. Это было моей мечтой, моим сокровищем и смыслом жизни. Что же касается любви, близкого друга и вообще сердечных дел, то с мальчишеских лет идеалом моим было нечто среднее между купринской Олесей и Гердой из «Снежной королевы» Андерсена. Ведь Герда – это не просто хорошая девочка и верный друг. Нет-нет, это гораздо больше! Герда – это сама любовь! Спасая дорогого и близкого человека, она бесстрашно идет через горы, реки и леса, встречается с хищными зверями и разбойниками, преодолевает вечные льды и снега. Но и это еще не все. Она находит Кая уже заколдованным злой королевой царства снегов. Он глух к ее призывам и мольбам. Он ее не слышит. Ему нужно сложить из льдин по приказу королевы таинственное слово «Вечность», и тогда он навсегда останется в этом царстве льда и снегов. Герда в отчаянье плачет и зовет его обратно к родным полям, к теплу, к жизни и к любви. И вот горячая слеза Герды падает на грудь Кая, она согревает его застывшее сердце и разрушает колдовство. Кай узнает Герду и, разбуженный к жизни, радостно идет вместе с ней к человеческому теплу. Но и это еще не все. На пути их встречаются непроходимые льды и снега. Кай теряет силы, окончательно устает и падает:

– Иди, – говорит он Герде. – Я больше не могу!

– Можешь, можешь! – убежденно говорит Герда. – Вставай, идем, мы дойдем непременно.

И Кай подымается и снова продолжает путь. А потом он вновь теряет силы и снова падает.

– Нет, больше я не могу! – отчаянно говорит он.

Но рядом Герда, а Герда – это любовь!

– Можешь, можешь! – снова страстно говорит она. – Я не уйду! Вставай! Мы дойдем, непременно дойдем до цели! Идем же! – И она спасает Кая. Приводит его домой.

Вот о такой Герде, о такой верности и о такой любви мечтал я с мальчишеских лет. Теперь же в госпитале, когда жизнь моя усложнилась в десятки и сотни раз, желание иметь рядом сверхнадежного и близкого человека утвердилось в душе моей непреложно! Должен сказать, однако, что какой-то конкретной задачи выявить степень верности и надежности в сердцах девушек, говоривших мне о любви, я в те далекие дни, конечно, не ставил. Выкристаллизовывались эти качества в непосредственных общениях как-то сами собой. И как-то так получалось, что с самого же начала наиболее теплые чувства в душе моей вызывала Наташа. Когда она приходила и садилась рядом со мной, то я словно от незримого прожектора ощущал на себе поток удивительно добрых, искренних и сердечных лучей. Правда, тут, в госпитальной палате, чувства свои она выражала как-то застенчиво и смущенно. Родители у Наташи были арестованы в 1937 году, и она с младшим братом оказалась на попечении вечно ворчливой и хмурой тетки. Опека эта, очевидно, была для нее нелегка, и, едва встав на ноги, Наташа взяла все заботы о себе и о младшем братишке на свои плечи. Дел у нее было, конечно же, по горло, и приходила она ко мне не чаще двух-трех раз в неделю. Все другие тоже приходили когда чаще, когда реже. Все... кроме Лиды. Лида вела себя совершенно иначе. На протяжении всего времени, что я лежал в Москве, а лечили меня в столице ровно год, она навещала меня ежедневно. А случалось, что и по два раза в день. В ту пору она училась в десятом классе вечерней школы и прямо с занятий прибегала ко мне. В воскресенье же, а иногда и в какой-нибудь будний день ухитрялась прибегать ко мне и утром и вечером.

– Здравствуйте, Эдик, – говорила она ласково-тихим голосом, садясь не на стул, как Наташка, а на край кровати возле меня.

О чем мы с ней разговаривали? Боже мой, да, наверное, обо всем! И о ее друзьях и подругах, и о школьных делах, и о сводках информбюро, ну и, конечно же, обращались к темам, которые волнуют человека, когда ему восемнадцать или двадцать лет... сумбурное море эмоций, планы, надежды, мечты. Поведение Лиды заметно отличалось от поведения всех других девушек. Взяв меня за руку и сев возле меня, она словно бы растворялась во мне: в моих словах, раздумьях, мечтах. Сама по себе она вроде бы переставала существовать, становясь чем-то вроде воска, из которого я мог лепить все, что мне только захочется. Ее не смущали ни операции, ни раны, ни кровь. Для нее они как бы не существовали. А существовал только я, а что у меня есть и чего нет, уже не имело значения. Если она приходила в госпиталь и у меня кто-нибудь был, она не возвращалась обратно, а усаживалась поудобней в приемном покое и терпеливо ждала ухода посетителя. А затем, получив халат, бежала ко мне в палату. Посещения разрешались только до 22 часов. И если посетитель засиживался у меня даже до без четверти десять, она все равно упрашивала сестру разрешить и прибегала даже на оставшиеся пятнадцать минут.

Веселая и болтливая Лена, напротив, расспрашивала меня редко. Вместо этого она без умолку щебетала, способная и пошутить, и пококотничать, и похвастаться. Была она в ту пору белолица, румяна и пышна – ни дать ни взять московская купчиха. Ее мама, Татьяна Николаевна, узнав о желании дочери выйти за меня замуж, даже ходила к моей маме, одновременно и в роли доброй знакомой, и матери, и свахи.

– Лидия Ивановна, – горячо говорила она, пуская клубы дыма из папирос, которые набивала сама, – Лидия Ивановна! Голубчик! Ну что матерям в жизни больше всего нужно? Сча-

стве детей. Разве не так? Думаю, что у нас с вами тут нет разночтений. Но что, кроме любви, может воистину генерировать счастье? Да конечно же, ничего!

Татьяна Николаевна была профессорской вдовой и ученые слова любила.

– Вы знаете, я смотрю на свою Ленку и вижу, какая происходит с ней трансформация, причем в лучшую сторону. Господи, Лидия Ивановна! Мы же столько лет с вами знаем друг друга! Когда я увидела, с каким одухотворенным лицом возвращается Ленка из госпиталя, – меня осенило! Леночка, говорю я ей, Леночка! Давай поговорим как друзья. Скажи мне, что с тобой, Лена? А та как заплачет, обняла меня и говорит: мамочка, я люблю Эдика! Господи, Лидия Ивановна! Я Эдика знаю не первый год. Я подумала и решила: пусть женятся и пусть живут. Места у нас много, три комнаты. Мы с младшей Танькой будем в смежных, а они пусть берут изолированную. Господи, Лидия Ивановна! Ведь мы же сами были молодыми! Неужто мы их не поймем? Ленка говорит, что Эдик тоже, кажется, согласен!

Когда мама рассказала мне о визите Татьяны Николаевны, я был несколько озадачен. Очевидно, эмоции порой опережают реальность и желаемое ощущается как действительность. Никаких решений я в разговоре с Леной не принимал. Да и весомых причин у меня к тому не было. Леночка была мне симпатична. От нее веяло беспечностью, энергией и весельем. С ней было приятно, весело и легко. Ее розовошеекое здоровье обещало немало горячих радостей. Но мне было нужно гораздо больше: душу, помноженную на душу, труд, помноженный на труд, и любовь, помноженную на любовь.

Приехавшая с фронта Шура разыскала меня в госпитале. Внешне держалась спокойно, но чувствовалось, что каждая жилочка в ней дрожит и волнуется. Мы сидим с ней на диванчике в коридоре. Мимо снуют, топя каблуками, медсестры и врачи, шлепают огромными тапочками, рассчитанными как минимум на слона, ходящие больные. Поэтому беседовать лучше вполголоса. Жадно затягиваясь папиросным дымом и барабанив пальцами по лакированному подлокотнику, Шура говорит:

– Мы сейчас на переформировке в Москве. Через неделю-другую снова поедем на фронт. К тебе я смогу вырваться еще ну раз, ну два, ну от силы три. Поэтому послушай меня, пожалуйста, внимательно. Свое отношение к тебе я не изменила. Об этом я говорила тебе, когда приходила в прошлый раз. И я готова быть рядом с тобой всегда. Если ты согласишься и мы с тобой зарегистрируемся, а это можно сделать, я узнавала, то я в качестве твоей жены смогу остаться в Москве. Это я узнавала тоже. Поэтому решение надо принимать сейчас. Знаю, что к тебе тут ходит изрядное количество девушек, только не спорь, я знаю. Возможно, они симпатичнее и понежнее, чем я. В окопах они не сидели и в грязи под обстрелами не валялись. Но тебе нужна ведь не белоручка... Вчера я была в гостях у твоей мамы. Там познакомилась с Лидой. Это, кажется, основная из претенденток? Во всяком случае, мне так сказали. Тут, пока я ждала внизу халат, сестры и няньки снабдили меня мощнейшей информацией. Что смеешься? Нет, я серьезно. Кстати, Лиду я видела сегодня уже вторично, ведь она же мне и халат отдала. Ну а тогда, в первый раз, в гостях у Лидии Ивановны, я хоть и коротко, но все же к ней пригляделась. Не скрою: стройная, интересная, все так. И говорит нежным голоском. Но, по моему, избалована и капризна. Лидия Ивановна готовила обед и попросила Лиду повернуть для котлет мясо. А она взяла кусок двумя пальцами, сморщилась и говорит: «Ой, Лидия Ивановна! А оно мокрое!» Мама твоя тогда говорит: «Боже мой, ну тогда оставь, я сама, а ты пойдешь и вымой пока вот эту кастрюльку...» Она ушла, а потом вернулись и капризно так говорит: «Ой, Лидия Ивановна! А вода ужасно холодная! Просто жуть!» И ты напрасно улыбаешься. Я ведь серьезно. Не берусь судить о ее душевных качествах, но кажется мне, что тебе нужна совсем не такая хозяйка. Времени у меня мало, очень мало. Человек я все же военный. А мое отношение к тебе ты, я думаю, знаешь. Поэтому подумай серьезно и решай.

Возможно, в ее словах и была логика. Но что я мог в те минуты решать? Как сложится моя жизнь, я еще не продумал. Не было у меня в то трудное время ни профессии, ни собственного

жилья – ничего. Впереди были еще операции и вообще полная неизвестность. Да и в том, что у нас с Шурой уже существует большая и настоящая любовь, я тоже убежден не был. Поэтому и сказал Шура, стараясь никак ее не обидеть, что решать в подобных условиях такие вопросы я еще никак не могу. Да и какая еще женитьба, когда человек лежит в госпитале?! Мне казалось, что Шура должна непременно меня понять и ни в коем случае не обижаться. Однако полной уверенности, что это было именно так, у меня все же не было. Через несколько дней Шура снова пришла ко мне в госпиталь, но на этот раз не одна, а с какой-то своей подругой. Зачем она взяла ее с собой, я толком понять не мог. Никакого участия эта подруга в разговоре не принимала, а только робко вертелась на стуле, озираясь вокруг, да время от времени чуть слышно тормозила Шуру:

– Пойдем... Нам пора...

Никакого впечатления эта встреча в памяти не оставила. Да и какой разговор по душам мог состояться при совершенно постороннем человеке?! Очевидно, Шура почувствовала это, потому что, уже попрощавшись и выйдя с подругой в коридор, быстро вернулась и, подойдя ко мне, торопливо сказала:

– Я еще, наверное, к тебе приду. Ну а если не успею, то непременно буду писать тебе через твою маму. Запомни только главное: я тебя люблю и по-прежнему хочу быть только с тобой!.. Ну, поправляйся и будь счастлив... до встречи!

Больше я не встретился с ней никогда... Правда, из армии, откуда-то из Прибалтики, она написала моей маме одно-единственное письмо. Было оно коротким и чуточку странным. Шура сообщала мне, что скоро предстоят нелегкие бои. Но она сейчас заболела и находится в госпитале. У нее воспаление среднего уха. Предстоит операция. А далее она писала так: «... Лидия Ивановна! Писем мне писать не надо. После операции напишу сама. Пожалуйста, не отдавайте Эдика Лиде! У нее вода холодная, а мясо мокрое... Уверена, что ему нужна другая. Впрочем, увидимся – поговорим. Целую, Шура».

И больше ни одного письма не было. Что случилось с Шурой, я так и не узнал. Решил, что погибла либо на операционном столе, либо на фронте.

Однако много лет спустя, когда была уже написана поэма «Шурка», в мою московскую квартиру позвонил незнакомый человек, назвавшийся Александром Манделем – артистом Днепропетровского драмтеатра. Попросил разрешения повидаться со мной, а приехав, сказал, что видел Шуру уже после войны, служа с ней в одной части в Калининграде. Рассказал, что они были большими друзьями и Шура показывала ему мою военную фотографию и стихотворение, которое я ей посвятил когда-то на фронте. Что ж, возможно, все это именно так. Ибо откуда незнакомый человек мог знать о стихотворении и фотографии? А если вспомнить визит с подругой и странное письмо из госпиталя, то и вообще становится очень горько. И все-таки, несмотря на все сказанное выше, верить этому мне по-прежнему ужасно не хочется. Шуру я продолжаю считать погибшей. Та Шура, которую я знал на фронте и которая со слезами на глазах говорила мне о большой и настоящей любви и там, на войне, и потом, в госпитале, не могла, оставшись живой, спрятаться и даже не спросить о моем существовании. Пусть даже встретила и полюбила другого, такое бывает, но все равно не написать и не спросить обо мне она, конечно же, не могла. А если жива... Если и испугалась даже нашей дружбы... Ведь она видела, что я не одинок, что невестами не обездолен. Значит, если устроила свою судьбу как-то иначе, то все равно, находясь где-то рядом, а жила она в Подмосковье, могла и открытку черкнуть, и позвонить, да и просто зайти в гости... И если она жива и ушла, как подводная лодка, на грунт, значит, для меня ее все равно нет. Ни любовь, ни дружба такой не бывает! А обиды на нее я не держу. Говорю это чистосердечно. Впрочем, жива Шура или не жива, все равно того, что было там, в тяжелые дни войны, искусственно зачеркнуть невозможно. И, создавая в поэме «Шурка» собирательный образ девушки в серой шинели и наделив ее рядом романтических черт, я все равно за основу взял образ живого, реального человека.

Вопрос о том, что делать и как жить мне дальше, с каждым днем вставал предо мной все острее и острее. Сегодня, когда мои читатели и друзья, говоря о моей поэзии, непременно считают нужным подчеркнуть целеустремленность и силу духа их автора, я хочу все же сказать, а вернее, предостеречь от каких-либо крайних суждений. И в связи с этим считаю нужным сделать признание в одном своем поступке, о котором все мне говорить не хотелось, но сейчас, при генеральном разговоре, рассказать об этом, видимо, просто необходимо. Человек, каким бы он ни был стойким и волевым, все равно не робот и не машина. И он не может быть застрахован ни от сомнений, ни от слабостей, ни от кризисной минуты отчаяния. Другое дело, как он сможет все это перенести, хватит ли у него силы духа, чтобы выбраться потом из глубины этого горя и уметь найти цель, во имя которой стоит бороться и жить. Но я повторяю, людей со стальными нервами нет и не может быть. Бывают же они только в книжках да в кинобоевиках. Не был собран из железных деталей и я. Горе страшно именно своей неожиданностью. Да, война есть война, и идя всякий раз в бой, я, конечно же, понимал, что могу быть убит или ранен. Но вот к тому, что стряслось, я не был готов абсолютно... Говорят, что мама Владимира Высоцкого всегда опасалась инфекционных болезней, а погибла на улице Кирова в Москве от случайно упавшей на голову огромной сосульки. Живший в Свердловске чемпион страны по плаванию Попов меньше всего, конечно, опасался воды и погиб нелепо, просто так, для развлечения переплывая городской пруд, который я, двенадцатилетний пацан, переплывал преспокойно. На самой середине пруда он закричал, что у него началась судорога. А люди, стоявшие на берегу, хохотали: шутит чемпион! И только тогда, когда Попов перестал уже выныривать, спохватились и бросились к лодкам, но было уже поздно. Да, горе никогда не предупреждает о своем приходе. На то оно и горе. И вот я, горячо любя жизнь, все же внутренне был готов и к гибели, и к любому ранению. К любому, кроме того, которое произошло. Отчего именно так? Да оттого, что самого наихудшего мы почему-то не предполагаем никогда. Придя в себя и осознав свое положение, я решил надеяться на медицину и изо всех сил ей помогать. Если же все бесполезно и впереди только черная тьма – самому подвести черту.

Два профессора-окулиста смотрели меня в разное время: Тихомиров и Ченцов. Третьим был даже не профессор, а академик, вершина глазной науки – Владимир Петрович Филатов. Высокие ученые мужи... О, если бы знаний и мастерства у них было бы столько же, сколько таинственной важности, солидности и апломба! Я ничуть не умаляю их серьезных заслуг, и все-таки, как говорится, увы... Всякий раз я шел на прием к ним так, как идут люди на приговор трибунала: жизнь или смерть. Считал ступеньки лестниц, задумывал: если четное, то надежды нет, а если нечетное... Но количество ступенек было разным, а ответ всегда один. Последнюю точку в моей драме поставил академик Филатов. Осмотрев меня и побарабанив пальцами по столу, он суховато сказал:

– Ничем помочь не смогу. Чудес на свете не бывает. Всего доброго!

Я не пишу сейчас трагического романа и не хочу подробно рассказывать о том, что чувствует двадцатилетний человек, у которого вместо лица сплошная рана и которому только что вынесли приговор: ни единого луча света до конца жизни! Если есть у вас богатое воображение – попробуйте представить. Если нет – не старайтесь. Впрочем, боюсь, что и в том и в другом случае сделать это хоть с какой-то долей достоверности все равно невозможно, ибо вы всегда знаете, что в любую минуту можете разрушить любой мрак. Поэтому просто поверьте на слово, что для любых плеч, даже для сильных, тяжесть эта несоразмерна. Нет, в панику я не ударился. Хотя признаюсь, в подушку разок реванул. Жаловаться никому не стал, да и кто тут поможет? Еще раз решил не торопясь обмозговать все. Что думал и как думал, тоже говорить не буду. Сейчас это все не важно. Важен результат. А результат был такой: у меня в жизни было два крыла: поэзия и театр. Сейчас они поломаны. Бывает такое состояние души, когда в холодном и душном отчаянии тонут все твои мечты и надежды. Когда теряется вера в себя, в жизнь и во

все на свете! Жить только затем, чтобы существовать, – такое меня не устраивало. И я решил подвести черту...

Выждав удобное время, когда госпитальная жизнь начинает уже затихать, врачи уже ушли, а сестры, выполнив все процедуры, либо меряют вечернюю температуру лежащим больным, либо у своих столиков в коридоре записывают отчеты в соответствующие бумажки, либо беспечно чешут языки и наименее бдительны, я выпросил у дежурной сестры Раечки два новых бинта. Сказал, что у меня ослабла повязка и я хочу сам себе сделать подбинтовку. Просьба моя, очевидно, озадачила хмуроватую Раю. Возможно, попроси я у нее только один бинт, а затем у новой сестры другой, все сошло бы благополучно и не вызвало подозрений, но два бинта сразу?! Дать мне их Раечка дала, но, как потом оказалось, беспечность свою отложила в сторонку.

Еще в детские годы, живя на Урале, я превосходно научился у деревенских мальчишек плести из лыка мочальные веревки и пастушьи кнуты с «грохалами» из конского волоса. Такие кнуты хлопали не хуже ружейной пальбы. Сплетать же меж собою бинты было еще проще, чем веревки из лыка. Расположение коридоров и лестниц в госпитале я изучил довольно прилично. Наша палата находилась на втором этаже. Если выйти из двери и повернуть по ковровой дорожке направо, то в конце коридора упруешься в застекленную будку телефона-автомата. А немного правее от нее – тяжелая дверь, ведущая на лестничную площадку. Дверь эту полагалось всегда запирать, для того чтобы раненые не могли покидать своих отделений и болтаться по всем этажам, вплоть до выхода во двор и дальше на улицу. Кроме того, в правом крыле здания находилось хоть и небольшое, но женское отделение. И общение между больными обоих полов, в целях соблюдения нравственности, а также во избежание непредсказуемых, а вернее, очень даже предсказуемых последствий, находилось под строгим запретом. Но так как лестница эта была нужна прежде всего самим врачам и сестрам, сновавшим вверх и вниз постоянно, то дверь эту частенько запирать забывали, чем некоторые ребята и пользовались. По субботам и воскресеньям по этой же лестнице подымались раненые на четвертый этаж в клубный зал, где либо крутили кино, либо устраивались концерты, либо просто шли танцы под радиолу. На концерты и даже на танцы я по этой лестнице несколько раз уже ходил. Слушал концерт или танцевальную музыку, а то и сам пробовал пройтись раз-другой с какой-нибудь сестричкой или с кем-то из своих гостей, например с Наташей или Лидой. Но радости такие походы не приносили. А по возвращении в палату становилось почему-то еще горше. Ну, а выше четвертого этажа по лестнице находилась чердачная дверь. Это я узнал совершенно точно. Даже сам после одного концерта, будто случайно, поднялся на пятую площадку и посмотрел, как она открывается. Удивленной Наташе, которая была тогда рядом со мной, шутливо объяснил, что может быть, когда-нибудь приду с ней сюда целоваться. Помню, что Наташа моего юмора не разделила и только спокойно сказала:

– Вот пусть сюда и бегают желающие чердачных свиданий. А нам с тобой это совершенно не нужно. Поправляйся, поедem домой и можешь целовать меня сколько захочешь.

Господи! До чего же реактивна молодость! Всего четыре месяца после ранения. На сердце черным-черно. А молодость (а кто же, как не она?) отвечает Наташке:

– Ну что же, ладно. Давай будем считать так: когда бы я ни приехал в дом, хоть через год, хоть завтра, но как только я переступаю порог квартиры, договор наш сразу же вступает в силу. Ну как, решено? – И протягиваю ей руку.

Наташа тихо пожимает мою ладонь и еще серьезнее говорит:

– Хорошо... Договорились...

Разговор этот был дней десять назад. А вчера весь мир соскочил с оси... И на черта нужны поцелуи, если – всё, абсолютно всё! Если лопнули все надежды, даже самые-самые тайные... Если вчера даже сам академик сказал: «Чудес на свете не бывает!...» А значит – финита!.. И

хватит валять дурака! А душеспасительные беседы оставьте для тех, у кого нет ни характера, ни воли!..

Девять часов вечера. Через час отбой. Одни перед сном идут умыться и почистить зубы (у кого они, разумеется, есть. Отделение как-никак челюстно-лицевое), другие, лежа еще сверху на одеялах, читают газеты и журналы, третьи гуляют по коридору и зубоскалят с сестрой. У меня все продумано до мелочей. Выхожу из палаты и с независимым видом шагаю по ковровой дорожке направо, в сторону телефона-автомата. Для вящей убедительности останавливаюсь и пересчитываю на ладони монеты. Потом достаю из кармана пачку «Беломора», не торопясь закуриваю и продолжаю путь дальше. Идти позже, когда в коридоре никого не будет, сложнее. Сразу засечет сестра. Дохожу до застекленной будки. Позванивая монетками, преспокойно жду, когда кончит трепаться Юрка Задорожный. В госпиталь частенько приходят шефы с соседней швейной фабрики. В основном девушки. С одной из них Юрка сходил на танцы и записал ее телефон. Теперь роман у них в полном разгаре. Немного шепелявя из-за поврежденной губы и отсутствия ряда зубов, Юрка, повернувшись ко всему человечеству спиной и жарко дыша в трубку, чешет не умолкая:

– Надечка, вы со мной не шутите... Надечка, я ведь серьезно. Почему не верите? Как так можно не верить? Я же точно вам говорю, что не женат... Совершенно точно... Ну вот у ребят спросите...

О чем говорит дальше Юрка, я уже не слышу. На душе у меня такая буря и такой мрак, что даже добрый и веселый Юрка кажется мне сейчас чужим и невероятно глупым. Я не слышу, чем у него заканчивается разговор, не помню, что говорит он мне, возбужденно выбираясь из будки, ничего мне этого уже не надо. А вот маме действительно позвоню. И я разговариваю с ней так, как, может быть, никогда и не говорил. Не могу передать того, что говорил я и что отвечала она, помню только, что больше всего страшился, что может подвести голос или что брякну что-нибудь лишнее. Я сейчас совершенно сознательно опускаю все мысли и чувства, которыми жил я и до этого и в тот сквернейший мой день, этого сейчас совершенно не нужно. Передаю только сам факт, умолчать о котором ради правды не имею права. Раз было, значит, было. Кажется, разговор прошел благополучно, потому что мама хотя и была тронута моими интонациями, но, видимо, приписала их непростым обстоятельствам, ну, и тоске по дому.

Выходя из будки, почти сталкиваюсь вновь с Юрой Задорожным. Оказывается, он никуда не уходил и рвется вновь к телефону. Старший лейтенант Задорожный – летчик-штурмовик. Его сбили где-то под Мелитополем. Но боевого духа он не растерял и сейчас вновь стремится совершить «пике», но уже лирическое. Теперь Юрка возбужден и жаждет общений. Но, видя неразговорчивость, только скороговоркой выдыхает:

– Папиросы взял, черт, а спички забыл... Слушай, у тебя есть спички?

Молча протягиваю ему коробок. Он хватает спички и торопливо бормочет:

– Спасибо... Ладно, верну потом... – и снова ныряет в будку.

«Верну потом»... Для меня это «потом» звучит отчужденно, как с другого берега... Ну и пусть, мне это все равно. Делаю два шага вправо и толкаю тяжелую дверь. Она, слава Богу, не закрыта. На лестнице пустынно и тихо. Ни души... медленно подымаюсь по лестнице и думаю почему-то о Юрке Задорожном. До войны он учился в Бауманском институте. Когда горел в самолете и падал, то не только получил ранение и ожоги, но частично потерял зрение. Теперь учиться не хочет. Собрался после выписки в загорскую школу баянистов-аккордеонистов.

– А что, – говорит он, пуская дым через дырку в губе, – война, ребята, кончается. Впереди свадьбы да новоселья. Музыканты будут нарасхват. Музыкант – он куда хочешь, хоть на свадьбу, хоть на поминки, хоть на танцы. О полетах мечтать уже не приходится, ни в воздухе, ни в науке. Что ж, будем ходить по грешной земле. Вот женюсь, получу квартиру и – прощай все тревоги и беды! А что? Звезд с небес нам не надо!

«Женюсь, получу квартиру...» Меня почему-то обжигают злостью эти слова. Иду вверх по пустынной лестнице. Вот так жить на свете, чтобы положили в карман кредитную бумажку да поднесли рюмку с бутербродом... Или играть где-нибудь в оркестрике на клубных вечерах марши да вальсы... Пусть так живут те, кто хочет! И кому звезд с неба не нужно. А мне это все чужое. Ползать не будем. Или все, или ничего!.. И трусить не будем тоже. Не будем и не будем!.. Четвертый этаж. Хорошо, что никого тоже... Еще десять ступенек и еще десять... Сажусь на последнюю приступку. Разочек закурим, и все. Вынимаю папиросу. Ищу спички и вдруг вспоминаю, что отдал коробок Задорожному. Бывает же такая глупость! Пальцы неожиданно натываются вдруг на завалившуюся где-то на дне кармана одну-единственную спичку. Разминаю папиросу и держу спичку в руке. Нет коробка... Ладно, попробую чиркнуть ее о ступеньку лестницы. Шансов, что загорится, один к ста... Как сейчас помню, что мелькнула мысль: «Если вдруг загорится, то... Может быть, это добрый знак?» Спичка зашипела и вспыхнула сразу... Жадно закуриваю и спокойно говорю: «Ладно, не ищи лазеек и не валяй дурака!» Показалось, что внизу раздался какой-то шорох... Время позднее, могут хватиться. Гашу папиросу и, поднявшись, шагаю вперед. Быстрые, тяжелые шаги по лестнице и раскатистый бас начальника госпиталя Юлия Борисовича Эпштейна:

– Эдуард Аркадьевич, добрый вечер! Куда это вы, дорогой мой, забрели? Этажи перепутали?

Грозный Юлий Борисович никогда и ни к кому по имени-отчеству не обращался. «Товарищ больной» или «товарищ Задорожный!» И таких сердечно-ласковых нот в его голосе я не слышал еще никогда. Подойдя ко мне, он несколько минут молчит, а потом тихо гладит по голове большой и теплой ладонью... От этой неожиданной ласки я крепко стискиваю зубы... Сказать ничего не могу и только утвердительно киваю головой. Тут же и дежурная сестра Раечка, она почему-то плачет... мы тихо спускаемся вниз.

Как потом оказалось, бдительная Раечка давно за мной наблюдала и держала в курсе начальника госпиталя, который засиживался в своем кабинете иногда допоздна.

Я рассказал об этих тяжелейших днях своей жизни не только для того, чтобы поведать всю правду о самом себе, и не только ради того, чтобы подчеркнуть мысль о том, что абсолютно железных людей на свете нет и не может быть, рассказал я об этом случае еще и по третьей причине. Мне не раз доводилось слышать разговоры и споры о том, сколь ценна или не ценна наша жизнь и как вообще должен относиться человек к собственной жизни. Из зарубежной статистики и из статистики нашей страны, которую теперь перестают держать в секрете, мы знаем о значительном количестве самоубийств, особенно в молодежной среде. Причин называется множество. Тут и неудавшаяся судьба, и несчастливая любовь, и измена близкого человека, и физические и духовные травмы, и потеря родителей или детей, и одиночество, и пьянство, и наркомания, и тяжелый недуг, и старость, и крушение идеалов, и угроза ареста и наказания, и страх перед шантажом, и приступы душевной тоски, и множество других, самых различных причин. Я не беру на себя роли учителя, не собираюсь никому читать наставлений, а хочу лишь поделиться своими мыслями на сей счет. Да, только своими мыслями, и ничего больше. Не сомневаюсь в том, что для того, чтобы в тяжкую минуту добровольно уйти из жизни, определенную долю мужества иметь надо. Двух мнений тут и не может быть. Но уверен я также и в том, что для сражения с бедой, с абсолютно любой бедой, моральной или физической, даже самой-пресамой тяжелой, мужества нужно еще больше. Ибо заставить себя доплыть до далекого берега в штормовую погоду куда тяжелей, чем сдать и пойти на дно. Однако тут же возникает вопрос: ну а для чего бороться, если жизнь эта не нужна? Если она стала бессмысленной? Если нет больше надежд ни на что? Я много думал на эту тему и вот к какому выводу пришел. Со мной можно соглашаться или не соглашаться, но я думаю так. В смысле преодоления физических и духовных трагедий и бед потенциальные возможности человека необычайно велики. Зачастую он и сам не знает количества собственных резервов. Добровольный уход из

жизни происходит чаще всего под влиянием стресса, когда человек потрясен свалившимся на него несчастьем. Или когда он сам не в состоянии трезво оценить свое положение. Удержи его от рокового шага чья-то рука, окажись в тяжелую минуту рядом славный человек, и чаще всего непоправимого поступка не повторится. Удержи кто-нибудь нашу одноклассницу красавицу Марусю Гржебину от того рокового поступка (ну какие трагедии могут быть в восемнадцать лет), то я просто уверен, жила бы и жила наша Маруся еще многие годы, и может быть, даже очень счастливо. Впрочем, что там Маруся, она только начинала жить и была очень слаба. Есть примеры куда убедительней. А Гаршин? А Маяковский? Ведь, в сущности, они были невероятно одиноки. И окажись с ними рядом в те ужасные дни настоящий и верный друг, разве потеряла бы Россия двух великолепных писателей! Подвести же черту под собственной жизнью человек, я считаю, имеет право, как правило, в двух случаях. Первое: когда ты болен тяжелой прогрессирующей болезнью, а медицина абсолютно бессильна и впереди только жуткие муки и смерть.

Ну вот как умирал, к примеру, поэт Семен Гудзенко. У него был рак мозга. Его оперировали, но опухоль стала расти снова. Человека держали только на морфии, но боли все нарастали и нарастали. Впереди был только конец. Это понимали врачи, это понимал и сам Гудзенко. Он просил у всех докторов и друзей принести ему что-нибудь, помочь оборвать эти муки. Но никто и ничего ему не дал, и умер он в тяжелейших страданиях. Вот в таких неизлечимых случаях человек имеет право на добровольный уход.

И второе: когда ты не умираешь, но по причине старости, неизлечимо-беспомощного состояния, физической неполноценности уже не можешь обслуживать себя сам и вынужден сидеть на чьих-то руках не временно, а постоянно. Это не значит, что ты непременно должен так поступить, конечно же, нет, а просто ты имеешь на это моральное право. В тысячах же других случаев, сколь ни трудна подчас жизнь, но она все-таки дарована человеку только один раз и он может, как бы ни было порой тяжело, пережить свое горе и найти свое место под солнцем. В тысячах читательских писем мне сообщали о том, что мое творчество не раз помогало им преодолевать трудности, верить в прекрасное и верить в самих себя. Для меня подобные письма дороже всех наград. А не окажись со мной рядом в ту черную минуту маленькая медсестричка Рая Городцова и не просигналь она другому хорошему человеку, профессору Эпштейну, не было бы на свете ни меня, ни моих книг.

Почему, говоря о праве на подведение черты, я принимаю в расчет только физические и клинические причины? Да только потому, что психически нормальный человек духовные трагедии и драмы, как бы они ни были тяжелы, в конечном итоге пережить может и должен. И употребить жизнь, которая ему дарована природой, на что-то нужное, доброе и полезное, может и даже обязан. Когда? Все зависит от времени и характера. Как бы ни было тяжело свалившееся на плечи человека горе, все равно жизнь, что теплится в его груди, если ее преступно не оборвать, дайте ей время и она, как родник, что бьет из-под земли, постепенно размочит и разрушит все преграды: и снег, и лед, и грязь, и мусор и победно все равно пробьется к солнцу для того, чтобы поить других жаждущих и в том найти удовлетворение для себя!

Снова вопрос: ну, а если причина страшной беды известна, если кто-то является сознательной причиной ужасного зла, как тогда? Продолжать творить добро? Да, отвечу я, продолжать, но только в ином качестве. Совершить справедливое возмездие за поруганную честь, насилие или смерть – это ведь тоже сотворить добро! Я глубоко чту светлый образ Христа, но сам прощать подлецов, хищников, негодяев и прочую сволочь, простите меня, не способен! Хотя, обладая сердцем абсолютно не злым, за минувшие годы всевозможные житейские обиды и подлости прощал в этом мире не раз. Чаще всего себе же во вред...

Случай, который я описал выше, потряс меня так, как может потрясти город огромное землетрясение, после которого уцелевшие жители решают вопрос: строить на этом месте новый город или больше не строить? Решал этот шекспировский вопрос «быть или не быть», оче-

видно, в те тяжелые дни и я. Не могу сказать, сколько ушло на это дней и ночей, но постепенно, словно командующий, собрав воедино все подразделения и резервы и перегруппировав свои силы, я решил пойти на решительный штурм крепости, которая называется новой и яркой судьбой. Сказал себе, что если задуманных высот взять не смогу, если не сумею жить интересной и нужной людям жизнью, тогда без дурацких слюней и вздохов решу вопрос так, как и должно решить, а прозябать и коптить небо не буду. И чем больше я думал, тем выше оказывались стены, которые предстояло мне штурмовать. Ведь стать поэтом – это значит шагнуть не только в область глубоких чувств, но еще и мир красок и зримых образов. И жить в этом многоцветном мире нужно будет не месяц, не год и не два, а всегда так, чтобы не померкла ни одна звездочка, не потускнела ни единая краска! То есть сделать то, чего ни один поэт, находившийся в моих условиях, не делал еще никогда. Ни Мильтон, ни Козлов ничего подобного не совершили. То есть совершить то, чего в моем положении, сколько существует земля, ни один человек не сделал. Мне нужно было добиться того, чтобы мир глубоких чувств, ярких красок и образов стал моим миром, и не на время, а навсегда! Что касается Гомера, во-первых, его подлинное авторство до сих пор точно еще никем не установлено и для многих ученых находится под вопросом, а во-вторых, и «Иллиада» и «Одессея», при всей их гениальности, все-таки эпос – легенды, сказки и мифы. У меня же задача совсем иная.

Мне предстояло проложить тот единственно правильный путь, на котором всегда будет гореть негаснущий свет, станут светиться краски, которые никогда не померкнут. Дорогу, которая всегда будет идти через четко видимый живой и реальный мир. Творчество – это всегда соревнование. Значит, говоря фигурально, я должен буду выйти на помост в состязании с профессиональными поэтами. Что это значит? А это значит, что, находясь с самого же начала в неравном положении с моими коллегами, я должен буду не только делать то, что они, но даже лучше многих. А это то же самое, как если бы спортсмену с одной рукой нужно было бы выдернуть штангу с еще большим весом, чем подымают штангисты с двумя руками. Причем это не преувеличение, а суровая реальность.

Когда-то у поэта Павла Антокольского в стихотворении о творчестве я прочел такие заключительные строки:

...Смотреть без ужаса в глаза ночных стихий,

Раз в жизни полюбить, навек возненавидеть,

Пройти весь мир насквозь и видеть, видеть, видеть —

Вот так, и только так – рождаются стихи!

И вот этот экзамен, где, проходя сквозь мир, я должен буду его постоянно «видеть, видеть и видеть», предстояло сдать мне. Задача была колоссальная, да и ставка не меньше – вся моя жизнь!

Пройдут годы, и как бы выводя оценку на этом великом экзамене, руководитель поэтического семинара в Литературном институте имени Горького тот же Павел Антокольский подарит мне книгу своих стихов с надписью: «Эдуарду Асадову с любовью и верой в него!»

Но все это будет потом, а тогда в госпитале?.. А тогда мне предстояло сделать свой самый первый и решительный шаг, то есть дать на отзыв стихи поэту, мнение которого, а главное, принципиальность для меня бесспорны. Года за три до этого я прочел случайно статью Корнея Чуковского о переводах Анны Радловой творений Шекспира. Едко, аргументированно и зло Чуковский разнес эти переводы в пух и прах, так что от бедной переводчицы, кроме туфель и прически, не оставил ничего. Я знал Чуковского с малых лет как великолепного детского поэта,

но с Чуковским – беспощадным и острым критиком, столкнулся впервые. И вот, вспомнив об этой сверхсуровой статье Чуковского, я решил послать свои еще довольно робкие творения именно ему. Я не хотел и даже боялся чьих-нибудь дезориентирующих скидок, которые могут стать потом виной горького похмелья.

Ответа я ждал долго, почти целый месяц. И все это время находился в сильнейшем напряжении. Что, я полагаю, нетрудно понять. И вот когда я почти разуверился в том, что получу какой-либо ответ, письмо от Корнея Чуковского все-таки пришло! Сколько прошло с того времени лет, но я это письмо помню почти дословно:

«Дорогой Эдуард Аркадьевич! (Это я-то Эдуард Аркадьевич в мои двадцать лет!) Я внимательно прочел Ваши стихи и считаю необходимым сказать, что, давая литературные оценки, всегда говорю правду и только правду. Ну, а в данном случае я считаю не только недопустимым, но и просто кощунственным покривить душой хотя бы в одном слове...»

Предупреждение это отнюдь не было лишено оснований, ибо дальше от рукописи моей, сплошь испещренной красными карандашными пометками, Корней Иванович не оставил, что называется, камня на камне. Тут были острые и даже резкие замечания и по поводу формы, и по поводу содержания, и по поводу композиции, и Бог его знает по чему еще! В одном месте он даже подчеркнул неудачную рифму тремя чертами, а в другом, где мысль показалась ему выраженной несвязно, он поставил вопросительный знак такой величины, что им можно было бы убить человека или средней величины быка. Однако самой неожиданной была концовка письма:

«...Тем не менее, несмотря на все сказанное выше, я с полной ответственностью хочу сказать Вам, что Вы – истинный поэт! Ибо у Вас есть то подлинное поэтическое дыхание, которое присуще только поэту! Однако помните, что Вам нужно еще много учиться и много работать. И хороших творческих успехов! С приветом Ваш Корней Чуковский. Июнь 1945 г.»

Думаю, что не нужно большого труда, чтобы догадаться, какое впечатление произвело на меня это письмо! Пусть рукопись слаба, пусть она расчеркана и перечеркана красным карандашом, пусть надо еще много-много работать, но вот эти слова, сказанные крупнейшим мастером литературы: «Вы – истинный поэт!» – зажгли для меня с той минуты путеводной звездой! И сегодня, спустя многие-многие годы, я по-прежнему глубоко благодарен Корнею Ивановичу за то, что он не отмахнулся, за то, что сумел разглядеть во мне что-то доброе, за то, что подал свою большую и добрую руку, большую и в прямом и в переносном смысле, и помог совершенно еще зеленому и беспомощному литературному салажонку поверить в себя и шагнуть на первую, едва заметную ступеньку той великой лестницы, имя которой ПОЭЗИЯ!

Потом было множество удач и неудач, множество радостей и синяков (последних, к сожалению, больше). Но все равно та первая звезда, которую зажег для меня мой самый первый учитель, горит и по сей день!

Затем, когда я уже выписался из госпиталя, я встречался с Чуковским на его даче в Переделкине еще не однажды. Я приносил Корнею Ивановичу свои первые стихи и он, сидя на скамеечке в саду или на балконе второго этажа дачи, своим характерным певучим голосом, то в низком, то в высоком регистре читал их вслух как мелодекламацию. Потом, сделав по тексту ряд четких, то добрых, а то и довольно едких замечаний, старался нацелить меня на что-то нужное уже со взглядом вперед:

– Понимаете, дорогой мой, вам нужно все более четко вырабатывать свой голос, свою манеру и свои интонации так, чтобы вас узнавали, так сказать, не глядя на титульный лист, по одному стихотворению, может быть, по строфе. Вон слышите: на ветке поет щегол. Это не соловей и не жаворонок. Это щегол. И было бы плохо, если бы он пел под соловья или под канарейку. Он поет свою песню, и мы его узнаем. Я не знаю, какой птицей будете вы, соловьем, малиновкой или синицей, не в этом суть. Главное, чтобы вы были сами собой. Чтобы читатель, взяв в руки ваше стихотворение, сказал: «Это – Эдуард Асадов!»

А как-то раз осенью, когда по ветру летели, кружась, разноцветные листья, Чуковский, прочитав мои очередные стихи, неожиданно сказал:

– Видите ли, мой дорогой, в творчестве, как, например, и в спорте, высота и дальность прыжка зависят не только от способностей спортсмена, а еще и от почвы, от того материала, с которого он делает толчок. Чем мягче и слабее грунт, тем прыжок будет слабее. Вы меня понимаете? Самая крепкая почва, это ваша почва, то есть тот материал, который вы хорошо знаете. Кроме лирики, вам надо написать сейчас что-то связанное с вашей фронтовой жизнью, с вашей личностью, с вашей судьбой. Эта тема все равно будет вас преследовать. Поэтому, вероятно, самое лучшее – это пойти ей навстречу, переболеть в поэзии этой темой, чтобы потом не ощущать на плечах ее груза. Напишите или цикл стихов, или поэму, уверен, что у вас это непременно должно получиться сильно и интересно. После того как у вас в этой работе образуется определенная творческая мускулатура, вам уже легче будет обращаться и к лирике, и ко всем другим темам. И здесь, я полагаю, вам больше сможет помочь Алексей Сурков, я все-таки дальше от всех этих реальностей, чем он. Я с удовольствием буду общаться с вами и дальше, но сейчас я хочу отрекомендовать вас именно ему, тем более что он не только поэт, но еще и главный редактор «Огонька», что для вас, я думаю, может оказаться весьма и весьма полезным.

И, потрепав меня приветливо по плечу, он, как журавль, прямо с балкона сделал шаг едва ли не на середину комнаты, чтобы сесть, как он выразился, за «рекомендательное письмо». Письмо было коротким и примерно такого содержания:

«Дорогой Алексей Александрович! От души хочу порекомендовать Вам молодого, но весьма одаренного поэта Асадова. Он много пережил и ему есть что сказать в своем творчестве. Вы ко всем этим темам значительно ближе, чем я. Буду весьма Вам обязан, если Вы его пошлите и поддержите. Всегда Ваш Корней Чуковский».

Вот так я познакомился и со вторым моим литературным учителем – Алексеем Сурковым. Но об этом я расскажу потом, а сейчас вернусь снова в мои госпитальные дни. Ибо отсюда брала разбег не только моя творческая, но и личная жизнь.

Письмо Чуковского, присланное мне в госпиталь, подействовало на меня сильнее врачей и лекарств. Оно как бы поставило своеобразную точку на многих моих сомнениях и бедах. Теперь цель была определена и проложен маршрут. Оставалось самое трудное: осуществление этого генерального плана. Ну, а для этого нужно было как можно быстрее завершить операции и шагнуть в жизнь. Шагнуть с тем, чтобы, уже ни на градус не отклоняясь, идти к этой далекой и заманчивой цели. Но идти в этот путь в одиночку нельзя. Здесь в руке твоей непременно должна лежать другая рука – честная, любящая, надежная.

Из пяти девушек, предложивших мне руку и сердце, всех надежнее и сердечнее казались мне Наташа и Лида. Они нравились мне обе. Каждая по-своему. Почему сразу обе? Да потому, вероятно, что любовь, если она, конечно, настоящая, так быстро возникнуть не может. Для нее нужно немало условий. Но обе они, и Наташа и Лида, как бы находились на той залитой солнцем весенней площадке, имя которой – Влюбленность. И с которой может начаться, а может и не начаться Любовь. Наташа мне в этот период казалась и ближе и определенной, чем Лида. От нее шло какое-то удивительно ровное, нежное и негаснущее тепло. Характер у Наташки был добрый и ласковый. Окончив школу и работая в лаборатории «ЗИЛа», она была уже самостоятельным человеком. То есть кое-что в жизни знала. Хорошенькая кудрявая головка, чуть вздернутый носик и приветливо улыбающиеся губы, а еще у Наташи тугое, немного полноватое тело, высокая грудь и крепкие добрые руки. Лида казалась рядом с ней совсем еще девочкой. Хрупкая, избалованная, просидевшая всю жизнь возле папы и мамы, не знавшая и не любившая хозяйства, несколько скованная в проявлении эмоций, она в те дни в чем-то проигрывала ласковой и взрослой Наташке.

После ряда довольно трудных пластических операций, организм мой, очевидно, ослаб. И медицинское начальство решило дать мне месяц на поправку и отдых. То есть послать меня в крымский санаторий. А сопровождать меня в этой поездке должна была мама. Для приобретения же билетов и сборов давалось мне ровно два дня.

Вот так и оказался я на эти двое суток снова в своем доме у мамы по адресу, знакомому до щемящей боли, когда, посылая с фронта письма, я надписывал на треугольничках этот самый адрес: Москва-34, Кропоткинская улица, 23, кв. 16. Рассказать о том, что чувствует человек в своем новом положении, входя вновь в знакомую комнату, трудно, да и попросту невозможно. Особенно сложные чувства испытываешь, когдаходишь к книжному шкафу, знакомому до крохотного сучка на правой стенке внизу. Берешь в руки книги, те самые, которые знаешь чуть ли не наизусть, читанные-перечитанные, и... ощущаешь только шероховатость переплетов да теплоту страниц... Да и как опишешь ощущения человека, который берет в руки знакомые с мальчишеских лет предметы: старенькую самописку, гипсовую подставку для карандашей, большую фотографию, на которой снят весь твой выпускной класс... теннисную ракетку... Впрочем, хватит. Не будем лучше об этом говорить ничего.

Вечером, когда кончили пить чай, в дверь тихо постучалась и вошла Наташа, еще более сдержанная и тихая, чем всегда. Села возле меня и долго молчала. А когда мама вышла на кухню с чайником, чуть слышно спросила:

– Тебя не очень еще тянет спать?

– Совершенно не тянет.

– Тогда... Тогда... Если хочешь... Пойдем ко мне...

Наташа жила в этом же коридоре через две комнаты. Ее теплая, чуть шероховатая ладонь легла на мою руку. Прикосновение было ласковым и добрым... А когда мы вошли в ее комнату, она тихо закрыла дверь, подошла ко мне близко-близко и, закинув мне за голову свои оголенные руки, скорее прошептала, чем произнесла:

– Ну вот я и с тобой... Ты ведь ждал этого... Верно?

Ночь, мягко шелестя тополиными листьями и перекликаясь отдаленными гудками машин и звонками ночных трамваев, тихо плыла за раскрытым окном. Моя первая мирная ночь... Нет, до чего же это сложная штука – жизнь! Наташка, ласковая и преданная Наташка, которая писала мне письма на фронт, которая поцеловала меня в гноящуюся рану на перевязке, Наташка, которая дарила мне столько настоящего сердечного тепла и которую я уже готов был полюбить... И вдруг эта самая Наташка!..

В комнату вливается ранний московский рассвет. По ладони моей медленно ползет теплый утренний луч. Я сижу за столом и, прежде чем уйти из Наташкиной комнаты, сосредоточенно и молча курю. Наташа сидит поодаль, чуть подрагивающими руками держит мою руку у себя на коленях, и я чувствую, как на пальцы мои падают ее теплые слезинки: одна, другая, третья...

– Не нужно плакать, – с горечью говорю я, – тут не слезы нужны, а правда. Все иное бессмысленно. Я ничего не могу понять. Ты помнишь ту нашу встречу два года назад?

– Помню, – еле слышно говорит Наташа. – Но тогда все так и было, даю слово... Все так и было...

Тогда, летом сорок третьего, прежде чем уехать на фронт, я решил еще раз навестить свой дом. Как-никак впереди снова война: смертельная усталость, взрывы снарядов, непролазная грязь или морозы, сражения, пепел, кровь... А комната, где ты жил и учился, с репродукцией на стенке картины Шишкина «Рожь», с твоей кроватью, застеленной тем же коричневым шерстяным покрывалом, это для фронтовика – как для верующего Мекка, храм, молитвенный дом.

Дверь открыла прежняя хозяйка теперешней коммуналки, бывшая графиня Людмила Николаевна Барышева. Еще до войны она давала мне читать дореволюционные журналы

«Нива» и «Мир божий». Издавались они на прекрасной бумаге с интересными рассказами и яркими фотографиями. Например, «Встреча шведского короля с командой русского крейсера «Святой Михаил» или «Посещение царской четой военного госпиталя».

В одном из номеров «Нивы» была опубликована большая фотография: на белой, обитой сафьяном кушетке сидит красивая молодая женщина в черном, до самого пола платье, в золотых туфельках и с драгоценным ожерельем на груди. В правой руке, унизанной перстнями, большой страусовый веер. Тонкий, с небольшой горбинкой породистый нос, большие миндалевидные глаза, опущенные стреловидными ресницами, и красиво вычерченные губы, на которых играет надменная полуулыбка. Женщина раскинулась на софе в непринужденной позе и загадочно смотрит мимо зрителей куда-то в прекрасную даль. Под фотографией подпись: «Графиня Людмила Николаевна Барышева в вечернем туалете».

Сегодня Людмила Николаевна была, конечно же, не та, что на старой журнальной фотографии: какая-то старенькая заштопанная кацавейка, седые жиденькие букли и ссутулившаяся спина. И все-таки от прежней графини в ней что-то неуловимо продолжало жить. Тот же, с небольшой горбинкой нос, интеллигентный московский говор, выражение лица, жесты, да мало ли еще что! Никаких тапочек на ногах она не признавала и бегала (да, да, не ходила, а бегала) по длинному коридору в туфлях на каблучках. Увидев меня, она радостно ахнула, обняла за шею, по-матерински поцеловала и даже прослезилась:

– Господи, Эдик! Вот сюрприз так сюрприз! Ах, мамы-то твоей сейчас нету... Ты знаешь? Да, она в эвакуации, но, наверное, скоро придет. Ты это знаешь? Ну да, конечно. Подожди, дай-ка посмотрю, как время-то бежит. Был совсем еще мальчик, а теперь, а теперь... военный, да еще, по-моему, офицер, да? Кто же ты: поручик или, как теперь по-новому, лейтенант? Ну, а что на фронте? Как дела? Наши побеждают? Ну, слава Богу, прекрасно! Мы только ведь этим и живем.

Где-то там за спиной война. А тут дом, старинная московская квартира, и от этой седенькой бывшей графини веет таким теплом и уютom, что у меня от волнения чуть не защекотало в носу. И чтобы не раскиснуть, я даже ласково пошутил:

– Людмила Николаевна, а вы выглядите хоть куда! Вас преспокойно можно сватать за датского принца или за какого-нибудь бывалого командарма!

Людмила Николаевна смахнула слезинки, рассмеялась и бодро сказала:

– Ну, за командарма, может быть, и поздновато, но, между прочим, ледяной душ перед сном по-прежнему принимаю. Впрочем, что это я тут заболталась? Тебя же, наверное, ждет Евгений Михайлович!

И застучала каблучками по коридору.

К моему удивлению, Евгения Михайловича, моего отчима, дома не оказалось. Дверь была закрыта на ключ, и на мой стук никто не отозвался, хотя я накануне звонил ему на работу и сказал, что еду опять на фронт и завтра вечером приду повидаться и попрощаться тоже. Честно говоря, попрощаться мне хотелось не столько с ним, сколько просто с домом, с квартирой, со знакомыми с мальчишеских лет вещами. До войны у нас особенно теплых отношений не сложилось, а с началом войны холодок в них стал ощутим еще больше. Дело в том, что дядя Женья, как я его называл, обладал великолепным здоровьем. Когда началась война, ему было всего тридцать три года – возраст самый что ни на есть боевой. Мы, мальчишки, сразу после десятого класса ушли на фронт, а Евгений Михайлович от войны отвертелся. Наш сосед по квартире, Василий Михайлович Белов, был крупным начальником по какому-то военному ведомству. Евгений Михайлович, инженер по профессии, попросил у Белова разрешения перевестись к нему на работу. Тот по доброте души согласился, и таким образом отчим мой на всю войну получил бронь и остался в Москве заводить свои бесконечные романы, благо условия у него теперь были для этого великолепные. Во-первых, мама моя была в эвакуации в Уфе, а во-вторых, большинство мужчин находилось на фронте и женщин в столице, как, впрочем, и по

всей стране, был переизбыток. Мне трусливый поступок Евгения Михайловича не понравился сразу, но постольку, поскольку он был мужем моей мамы, я старался в себе эти отрицательные чувства погасить. Итак, я предупредил его о своем приходе и к назначенному часу пришел в дом. Но отчима не было. Дверь оказалась закрытой. Только много позже, уже после войны, я узнал, что закрытая на замок дверь вовсе не означала отсутствия хозяина. Что Евгений Михайлович прекраснейшим образом был дома, и не один. Вот это-то последнее обстоятельство и побудило его совершить некрасивый фокус. Пригласить с работы свою новую пассию – чертежницу Галю и вместе с ней, затаив дыхание, слушать, как я стучусь в дверь. Эту самую Галю я имел удовольствие видеть за три дня до описанных событий. В Москве я находился всего восемь дней и каждую минуту стремился использовать для того, чтобы встретиться со старыми друзьями или побывать дома. Вот и в тот день, всеми правдами и неправдами выбравшись из казармы дивизиона резервов Гвардейских минометных частей, я кинулся снова домой. На мой стук в дверь ответили не сразу. А когда я наконец вошел в комнату, то увидел, что Евгений Михайлович не один. Возле него сидела полноватая, не очень красивая девица, покрасневшая и немного смущенная.

– А, Эдик пришел! Заходи, заходи! – с какой-то деланной веселостью воскликнул дядя Женя. Он старался скрыть неловкость громким голосом и суетливыми жестами. – Это хорошо. Ну, что новенького на фронте? Как воюют наши славные войска? Да, чуть не забыл! Вот, познакомься: Галя – моя сотрудница, чертежница... Мы тут тоже зря не сидим. Работаем над новым проектом...

Девица протянула руку лодочкой и, опустив глаза, процедила:

– Здравсьте...

Потом, обернувшись к хозяину дома, не без досады сказала:

– Ну, раз к вам пришли, я пойду. У вас свои разговоры... Пока, увидимся завтра...

– Погодите, я провожу, – засуетился Михалыч и помчался вслед за пышнотелой гостьей в коридор.

А вернувшись, многословно и нудно, явно чтобы сгладить неловкость, говорил о важности проекта и о разных городских новостях. Что касается работы над новым проектом, то она, как оказалось позже, продвигалась действительно успешно и весной 1944 года у чертежницы Гали родилась дочь. С этого момента Евгений Михайлович сразу же потерял всякий интерес и к проекту и к Гале. И преспокойно бросил самоотверженную «сотрудницу» вместе с ребенком, точно так же, как делал это уже не раз в подобных же обстоятельствах.

Итак, постучавшись и постояв напрасно перед собственной дверью, я огорченно пошел по коридору назад. Проходя мимо двери Наташи, я немного замедлил шаги: постучать или не постучать? Пожалуй, все-таки поздновато да и вообще... как-то неудобно. В это время распахнулась дверь и в коридор вышла Наташа.

– Ты подумай только, как я узнаю уже твои шаги! Слышала, как ты прошел в свою комнату, и вдруг идешь обратно. Как, никого нет? А мне показалось, что Евгений Михайлович дома. Все-таки зайти хоть на часок ко мне. Брат мой Вадька сегодня у тети Груши. Можем сейчас попить чайку...

О, суровые военные времена! До чего же это обидно и горько, что вот взрослый двадцатилетний человек, офицер, фронтовик, направляясь с одного фронта на другой, оказался в Москве на неделю, всего на одну неделю, зашел к хорошенькой соседке Наташе, которая ему очень и очень нравится, и не может угостить ее ни конфеткой, ни даже каким-нибудь слоеным пирожком! Мы сидим с Наташей, пьем пустой морковный чай и вспоминаем милые довоенные времена. Такая была все-таки хорошая и удивительная жизнь. В магазинах все что угодно, никакой маскировки, улицы сияют огнями, и все дóма. Не надо никому уезжать и погибать на фронте. Мы говорим о наших знакомых, о соседях, вспоминаем забавные эпизоды: ты помнишь это, а помнишь вот то-то и то-то, и оба смеемся. Спыхватываемся только тогда, когда часы

в Наташкиной комнате бьют одиннадцать раз. Значит, начался комендантский час и хождение без спецпропусков по улицам запрещено. А у меня не то что спецпропуска, но и увольнительной даже нет. На улицах патрули. Ничего, конечно, страшного нет, утром все равно отпустят, но ночевать в военной комендатуре никак не улыбается тоже.

– А ты и не ходи, – говорит тихо Наташа, – можешь переночевать у меня. Кровать, правда, одна, но мы ляжем под разными одеялами. В конце концов мы же не посторонние люди. Верно?

Удивительная это была ночь! Хотя мы и лежим под разными одеялами и раздеты мы тоже не до конца, я снял только гимнастерку и сапоги, а Наташа домашний халат, все равно после двух лет войны, где женщин видишь лишь издали, да и то редко, после землянок с висящими портянками и густым махорочным дымом, после бомбежек, пальбы и соленых слов оказаться в теплой комнате, где рядом с тобой лежит пышная, молодая и ласковая Наташка, у которой сердце стучит так, что слышно, пожалуй, за километр, и ты в нее, кажется, влюблен и она в тебя тоже, это непростое дело! Я осторожно глажу Наташку по пушистым волосам, и она, зажмурившись, лежит тихо-тихо... Мы, конечно же, не спим, хотя и делаем вид, что пытаемся это сделать. Наташины губы близко, так близко, что разминуться с ними практически невозможно... И разве же кто-нибудь виноват в том, что разминуться им так и не удалось?! Но не ждите от меня рассказа о каких-нибудь новых деяниях. Их попросту не было. Лишь единственный раз я осторожно протянул к ней руку и услышал тихо просящее:

– Пожалуйста... не надо... хорошо?

И в самом деле, какое я имел право проявлять хоть какую-нибудь настойчивость? Какое?! Я уходил на фронт. Если до сих пор меня щадили снаряды и пули, то какая гарантия того, что они будут падать меня снова? И если я что-то позволю себе сейчас, то в случае каких-то неприятностей что будет с ней – чистой и светлой девушкой? Пришел, наследил и уехал, а она пусть так остается? Нет, такого позволить я себе не могу. Я целомудренно отодвигаюсь, крепко зажмуриваю глаза и, сморенный двухлетней, глубоко сидящей во мне свинцовой усталостью, постепенно засыпаю...

Вот так и провел я тогда у Наташки эту чистую и безгрешную ночь, абсолютно уверенный в недопустимости ничего иного!

И вот теперь, ровно два года спустя, сидя в той же комнате и чувствуя, как падают на мои пальцы крупные Наташкины слезы, я по-прежнему был убежден в правильности своего поступка. Порядочный человек в подобной ситуации должен поступить только так, и никак иначе. Помолчав, я снова говорю Наташе:

– Я очень тебя прошу, не нужно никаких слез... Если не хочешь ничего говорить, не говори. Я не настаиваю. А если говорить, то только правду. Вот и все.

– А я и говорю всегда только правду, – говорит Наташа все еще дрожащим голосом и вытирает слезы. – Говорю все как есть. Понимаешь, ты мне нравился еще до войны. Только ты на меня не обращал никакого внимания. Что я для тебя была? Совершенно никто, соседская девчонка, вот и все. Когда ты пришел в сорок третьем, я почувствовала, не знаю правильно или нет, что ты как-то внимательней посмотрел на меня. И когда мы с тобой ходили в парк и попали под дождь, а потом бежали прятаться под навес, ты так тепло обнял меня за плечи, что я подумала, что... ну, в общем, что я тебе тоже нравлюсь. И когда через три дня ты снова пришел и тогда у меня остался и даже поцеловал меня, я все равно была уверена, что все это только так, не очень серьезно. Нравиться, может быть, нравлюсь, но серьезного у тебя ко мне нет ничего. И когда письма тебе потом писала, все равно думала так же. Короче говоря, была уверена, что ты будешь искать себе более блестящую партию, чем я. Во всяком случае, ты мне о своем отношении ни устно, ни в письмах ничего серьезного не говорил. Нет, я себя ни в чем не хочу оправдать. Просто я рассказываю все как есть. Ты знаешь, что работаю я в лаборатории ЗИЛа, а по вечерам мы с подругами ходили еще работать в госпиталь. Я ведь прошла специальные курсы медсестер. И там мне стал оказывать внимание один майор, молодой, интелли-

гентный и как-то по-человечески добрый. Сказал мне, что он один, что семья его погибла в Могилеве. Ранен он был не очень сильно. Но была контузия, и левая рука сгибалась плохо. Его комиссовали и послали военкомом в Подмосковье. Короче говоря, он признался мне в своих чувствах и просил стать его женой. Ну и показалось мне, что это моя судьба, что я тоже тянусь к нему, ну и я согласилась. А потом, когда мы уже должны были идти регистрироваться, тебя привезли в московский госпиталь. И вот хочешь – верь, хочешь – не верь, это дело твое. Но вот я, как только пришла с Лидией Ивановной к тебе в палату, как посмотрела на тебя, как взяла твою руку, меня словно кипятком обожгло. Пришла домой и поняла окончательно, что люблю только тебя. И всегда любила. Вот только когда увидела тебя там в палате, ну вот словно ножом мне в сердце – люблю и люблю! А когда майор пришел, я сразу ему все и сказала. Все, как на духу. Он не поверил. Сначала думал, что я с ним шучу. Потом стал сердиться. В конце концов мы поссорились, и он ушел. Откровенно говоря, я думала, что на этом все. Ну, произошла горькая ошибка, никто ведь не виноват. Было бы хуже, если бы все это обнаружилось позже. Я была уверена, что он больше не придет. И вот спустя уже, наверное, недели две пошла я по Левшинскому переулку в овощной и вдруг вижу его. Такое впечатление, что ждал меня, хотя и сделал вид, что встретился случайно. Однако почему-то сразу же стал убеждать пойти с ним регистрироваться. Говорил, что любит, что ему дают квартиру и он мечтает там жить только со мной. Сцена была ужасно неприятная. Ты знаешь, для меня уже никого и ничего нет. Ведь чувство мое к тебе не вчера родилось, оно было во мне всегда, и только по-настоящему я поняла это, когда ты вернулся. Ну я тоже не виновата! Я ему снова все это же повторила. И вдруг он вытаскивает из кобуры пистолет и говорит:

– Решай, или ты выходишь за меня замуж, или я тебя сейчас пристрелю, мне терять нечего. Ну, в общем, как дон Хозе и Кармен.

– Да, – сказал я, – только тореадор не на арене, а на операционном столе.

Наташа тихо сжала мою руку:

– А мне наплевать, где ты и кем ты будешь. Для любви такие вещи не существуют. Смотрю я на этот пистолет, честно говоря, немного жутковато, но и злость какая-то начинает подниматься. Но стараюсь говорить спокойно: «Не советую тебе делать глупостей. Пользы от таких вещей ни тебе, ни мне. Я люблю другого человека, и пистолетом тут не сделаешь ничего». Тогда он выстрелил над моим ухом вверх и сказал: «Подумай еще раз, потому что вторую пулю получишь ты».

В это время по другой стороне улицы шли какие-то военные. Услышали выстрел и перебежали дорогу к нам. Один из них, кажется, подполковник, спрашивает:

– В чем дело, товарищи, что случилось?

Майор побелел от злости и хмуро цедит:

– Это моя жена, и я выясняю с ней отношения. Прошу поэтому не вмешиваться в наши личные дела.

Ну, они, очевидно, решили, что возвратился с войны фронтовик и выясняет отношения с вертхвосткой-женой. Понимающе ухмыльнулись, дескать, сами фронтовики, понимаем. Раз такое дело, то проучить не мешает. Вежливо козырнули и пошли обратно. А я кричу в отчаянии:

– Простите, товарищи! Никакая я ему не жена. Слышите! Я не обманываю, это правда!

И в голосе у меня слезы. Они, очевидно, поверили, вернулись, и подполковник тот говорит:

– С такими игрушками, майор, на улице не балуются. Скажите спасибо, что мы возвращаемся с праздника. И не хотим обижать фронтовика. Идите домой и чтобы подобных выходов никогда не было!

Я перенервничала и прошу их:

– Если можно, проводите меня, пожалуйста, домой. Я тут совсем рядом живу! Ну и они меня проводили. Больше я с ним не встречалась. Вот, собственно, и вся правда. Ну а все остальное решай сам. Я же знаю теперь только одно: как бы ни сложилась моя судьба, даже если ты от меня отвернешься и я когда-нибудь выйду замуж, я все равно буду любить только тебя одного. Это я знаю точно. Вот и всё.

Трудным был этот разговор. Трудными были и все последующие дни. Трудными и несправедливыми. С чьей стороны несправедливыми? Конечно, с моей. Впрочем, это я понял позже, гораздо позже. А тогда... А тогда я ехал в купейном вагоне с мамой в Крым, в Феодосию. Лежал на верхней полке и думал, думал, думал... Конечно, сегодня мне очень легко и просто все расставить по своим местам, дать справедливую оценку и поступкам и людям. Но тогда... Можно ли меня осуждать за те мысли, что владели мною в те нелегкие дни?! Вряд ли! Поезд мерно выстукивал свою неизменную песню. Я пускал печальные колечки дыма в потолок и мыслил примерно так:

– Любит меня Наташа или нет? Ну, допустим, даже любит. Будем считать также, что и мое сердце она зацепила. Но что меня может ждать впереди? Что для меня в женщине главное? Надежное и верное чувство. Повторяю: НАДЕЖНОЕ, и снова повторяю: ВЕРНОЕ! А какая здесь может быть вообще гарантия, что тут именно такая верность? Ну какая? Если она могла отмочить такой фокус по отношению ко мне, здоровому, интересному, полному огня и задора, то почему она будет надежной и верной, находясь со мной, разбитым и раненым? Что у меня на сегодня есть? Да ровным счетом ничего: ни профессии, ни квартиры (к маме я возвращаться не хочу), ни денег, ни тем более приличной физиономии. Да, я помню ее поступок там, во время перевязки, но где гарантии, что это не душевный порыв, и только? И потом, как это может быть: здоровый я ей только очень нравился, а раненый вызвал чувство любви? Нет и еще раз нет! Все это надо вырвать из сердца и выбросить! И это будет самое верное! Думаю, что любой нормальный человек согласился бы с ходом моих размышлений. Нет сомнений в том, что скоропалительных поступков совершать чаще всего не стоит. И тем не менее все рассчитать и вычислить все равно невозможно. Уже много лет спустя, когда Наташа вышла замуж и была матерью двух детей, я, разговаривая с ней по телефону о жите-бытье, вдруг неожиданно спросил:

– Можно, Наташа, я задам тебе один вопрос. Если не захочешь на него отвечать, не надо, я не обижусь.

– Ну, спроси, – улыбнувшись, ответила Наташа, – а почему такое предисловие? Мне кажется, мы всегда были с тобой откровенны.

– Хорошо. Вот ты говорила мне когда-то обо мне и себе... Ну, о том, что любовь у тебя одна и на всю жизнь. Скажи, теперь ты мыслишь иначе?

Наташа помолчала и твердо ответила:

– Почему иначе? Так же, как и тогда. И когда Саша делал мне предложение, я ему честно сказала о том, что люблю тебя.

– Ну и как же он среагировал?

– По-моему, он не до конца в это поверил. Во всяком случае, сказал, что, во-первых, ты уже женат, а во-вторых, он убежден, что это у меня пройдет и я его все равно полюблю.

– Ну и как?

– А я, по-моему, уже ответила ну и как! И, пожалуй, этого довольно!

Не знаю почему, может быть, из идиотского тщеславия, но я все-таки спросил:

– Ну хорошо, а если бы я позвонил тебе сейчас и сказал: в чем ты сейчас стоишь?

– Ну как в чем? В домашнем халате и тапочках.

– Ну вот и я бы тебе сказал: Наташа! Ты можешь вот прямо сейчас взять и бросить разом все, абсолютно все. Я подъеду к тебе на такси и тебе нужно будет спуститься вот так, как ты

есть, в халате и тапочках и уехать со мной навсегда куда угодно, куда я увезу, что бы ты мне ответила?

Наташа не думала ни минуты. Я слышал только, как она глубоко передохнула, а потом каким-то изменившимся глубоким и строгим голосом сказала:

– А я таких шуток не принимаю. И из праздного любопытства ты таких вопросов мне никогда не задавай. Нет, вопроса этого я не боюсь. Только ты если хочешь его задать, то задай абсолютно серьезно. И я подчеркиваю это тремя чертами: абсолютно серьезно. И тогда сам посмотришь, что будет! Договорились?

И тихо повесила трубку. И я, может быть, впервые в жизни понял, что прошел когда-то мимо огромной и настоящей любви. Что ошибка ее никогда бы не повторилась. Что множество ангельски невинных девушек, выйдя замуж, ставят своим нареченным нередко великолепные ветвистые рога. И что главное совсем не в этом, а в том, чтобы суметь разгадать, почувствовать душу человека! И при помощи интуиции, каких-то там шестых или седьмых чувств угадать золотой самородок под грудой камней и земли... Если бы уметь это сделать!

Да, время, конечно, великий целитель. Это теперь все, о чем я рассказываю, может показаться ясным и расставленным по своим местам, а тогда на душе у меня было смутно и тяжело. И санаторий, если и врачевал мое тело, то духовное состояние врачевал не очень. Шумело, накатываясь на лесок, море, визжали, прыгая на волнах, веселые отдыхающие, а я лежал где-нибудь в тени и, закинув руки за голову, молчал и думал. Нет, это было не простое молчание. В тишине под размеренный шелест прибоя шел труд, медленный и упорный. Это своими руками я возводил незримую стену между собой и Наташей. Мама, которая постоянно была рядом со мной и знала о моем состоянии, делала все, чтобы вселить в меня веру в хорошее. Наташу она знала прекрасно, и была ей Наташа ближе всех моих знакомых, и, если говорить откровенно, мама была на Наташиной стороне. Но, будучи всегда справедливейшим человеком, она не хотела никак давить на мою душу и предоставляла все решить самому. Она просто дарила мне свою ласку, тепло и сердечность, и это, вероятно, было мне нужнее всего. Приходили из Москвы письма. Больше всего их было от Лиды. Чувствуя, что у меня с Наташей происходит какой-то конфликт, она стала писать еще чаще. Наташа не писала ни строки, как бы давая понять, что решение судьбы она отдает в мои руки. А я уже все решил. Рядом со мной должен находиться человек, на которого можно положиться во всем и без оглядки. Ведь впереди предстояла трудная жизнь: завершение операций, поиски и непроторенная дорога в завтрашний день.

О своем возвращении я не давал никому телеграммы, кроме одного знакомого полковника, который должен был дать машину. Однако на вокзале, кроме него, была еще и Лида, напряженная, серьезная и довольная. С этого времени Лида стала главным моим посетителем. И как-то так само получилось, что все остальные люди, навещавшие меня прежде, вроде бы оттеснились на второй план. Нет ни малейшего сомнения в том, что в смысле времени, проведенного в госпитале, Лида намного превосходила всех навещавших в госпитальных палатах. Фактически она первой в госпиталь приходила и последней из него уходила. Теперь, когда я уже был не послеоперационным, мы гуляли с ней по коридорам, звонили кому-нибудь из автомата, сидели на деревянных и плюшевых диванчиках, а в теплую погоду выходили посидеть на скамеечке в госпитальном саду. Постепенно в госпитале все привыкли к ней как к своему человеку. Всем нравилась и ее тоненькая девичья фигурка, кроткий взгляд, скромная застенчивая улыбка. Да, буквально всем... кроме кастелянши Кати. У этой Кати погиб на фронте муж, и она одна растила двух малышей. На Лиду она всегда смотрела с какой-то холодноватой отчужденностью и при встречах здоровалась довольно хмуро. Задетый за живое, я несколько раз спрашивал Катю о причинах такого неприятия. Она долго уклонялась от прямого ответа, но однажды вспыхнула (характер у Кати был довольно резкий), под села ко мне на диванчик в коридоре и в чувством сказала:

– Мы, Эдуард, сейчас тут только двое. Хитрить я не умею и не хочу. Вот вы спрашиваете, почему я так к ней отношусь? Пожалуйста, если хотите, скажу. Быть может, я абсолютно не права. Не буду спорить. Но вот что чувствую, то и говорю. Возможно, вы ее любите. Тогда еще раз простите. Но вот не верю я ей, понимаете, не верю! Как и почему, точно сказать не могу. А вот не верю, и баста. Ну вот душой чувствую, что это тот самый тихий омут, в котором все черти водятся. Ну вот сердцем чувствую, что недобрый она человек и вы, если женитесь на ней, хлебнете немало горя. Вот другая девушка, которая теперь реже ходит, такая пышненькая, с голубыми глазами и внешне красивая, да и душа, по-моему, у нее славная, – вот я бы выбрала на вашем месте только ее. А эта, может быть, даже и еще красивее, но нет, ну вот не то и не то... Только не сердитесь на меня. Может быть, я просто злая дура. Жизнь меня не раз стегала кнутом по спине. Впрочем, это не важно. А не поделиться с вами своими мыслями я тоже ну вот не могла никак. А теперь давайте забудем все, что я вам тут сейчас говорила. Возможно, что она хорошая и я совсем не права!

Она ушла, а я долго еще сидел на диване растерянный и обиженно-возмущенный. Ну с какой стати она говорит и думает так? Почему? Какие у нее для этого основания? Да никаких! Дурацкий характер, и всё. А может быть, просто оттого, что жизнь у нее не мед, она не может видеть чужих радостей?! Впрочем, нет, не похоже. Душа у нее не злая. А может быть, у нее просто плохое настроение или что-то в этом роде? Бывает ведь и так. Ладно, будем считать этот разговор ошибочным и несправедливым. Я-то, слава Богу, знаю лучше!

Увы, сколько раз на протяжении многих и многих лет я вспоминал еще этот «ошибочный» Катин разговор... Впрочем, сильны мы бываем, как правило, именно задним умом. Потом, конечно, мы профессора и академики! И детей наших учим уму-разуму с самых мудрейших позиций. Но в момент, когда нужно совершать ошибки, мы их великолепнейшим образом совершаем. Ничьих советов не слушаем и удержать себя никому не даем!

Тем не менее справедливости ради я все-таки должен сказать, что поверить в те далекие дни хотя бы единому негативному слову в адрес Лиды было необычайно трудно. Мой самый лучший друг Борис Самойлович Шпицбург был, что называется, самым непосредственным свидетелем и почти участником тех далеких событий. Уже много лет спустя я спросил его во время одного задушевного разговора:

– Боря, вот ты, как друг, скажи мне откровенно и честно: была ли у меня хоть какая-нибудь причина усомниться в моем выборе? Ну, допустим, чего-то недоглядел я, но ты-то, со стороны наблюдая и за мной и за ней, имел возможность заметить хоть какую-нибудь червоточину, неискренность ее, лукавый взгляд, лицемерие, какое-нибудь фальшивое выражение лица хотя бы когда-нибудь или что-то еще другое?

И Борис мне ответил без колебаний:

– Нет, дружище, и еще раз нет! Когда Лида входила в палату, у нее на лице было всегда такое выражение, что она готова в любую минуту кинуться за тебя в огонь и в воду! И когда сидела возле твоей кровати, я много раз наблюдал со стороны, в палате, кроме тебя, было еще двадцать четыре гаврика и многие были не очень сильно ранены, во всяком случае, далеко не так, как ты, ну и посторонние люди приходили в палату тоже, и врачи, порой симпатичные, а она вот как сидит, так и сидит, смотрит только на одного тебя и даже головы ни на кого не повернет. Или, когда в палате народу совсем мало, положит тебе голову на грудь и не шелохнется. И когда гуляла с тобой по коридору или во дворе, я же видел, ну так она с тобой говорит и так ведет себя, как самая любящая душа. Ты знаешь, тебе даже все завидовали. Говорили, без злости, конечно, мол, черт побери! Асадов всех сильнее ранен, а девчонки к нему ходят одна лучше другой. Особенно вот эта Лида, приходит ведь каждый день и сидит с утра до вечера и, видать, любит. Везет же людям! Вон к Пасечному пришла жена, посмотрела один только раз, и всё, ушла и поминай как звали! А тут и не жена еще, и парень весь забинтованный, а она сидит и глаз оторвать не может!

Вот так примерно говорили буквально все. Да и я думал так же. Так что ты себя за твой выбор никогда не упрекай. Я на твоём месте поступил бы так же!

Вот так ответил мне Боря, мой самый верный и самый близкий друг, который не солгал мне ни разу. Если бы какой-нибудь верховный судья спросил меня: «А как она вела себя в те далекие дни?» Я бы не колеблясь ответил: «А никак не вела». Почему? Потому что ее практически как бы не было, а было мое эхо. Было существо, готовое предупредить мое любое желание. Моя воля – это была ее воля, мои эмоции были эмоциями ее. Говорила она всегда со мной тихим и удивительно ласковым голосом (а ведь это было не день и не два, а почти полтора года). Все мои радости были ее радостями, а мои надежды ее надеждами. Когда меня оперировали, она вместе с Борисом ждала меня еще в коридоре, а когда после этого я часами спал, особенно если подымалась температура, она сидела неподвижно рядом и держала меня за руку. И если бы, к примеру, когда-нибудь, наплевав на приличие, я велел бы ей забраться под одеяло, она сделала бы это раньше, чем я закончил бы фразу. Короче говоря, это была девушка, о которой и мечтать даже было трудно! Вот такая это была необыкновенная история! А если добавить к этому, что до встречи со мной девушку эту еще никто и ни разу не поцеловал, то можно ли удивляться тому, что соперниц у нее в конце концов вообще не осталось!

Приближалось время моей выписки из госпиталя. Врачебный консилиум решил отправить меня на три месяца домой, а потом положить в декабре на последнюю операцию. Что со мной делали? Да все время одно и то же: штопали мне лицо. Да, сломать куда легче, чем склеить. Для того чтобы ранить человека, нужна всего доля секунды, а для того чтобы починить или собрать всего только начерно и несравнимо хуже, то были нужны порой месяцы и даже годы. Об убитых, которым не помогут ни бинты, ни врачи, я уже не говорю. Вот почему война – это самая жестокая и нелепая бессмыслица на земле. Я-то знаю об этом не понаслышке!

Самыми трудными для меня минутами в госпитале были те дни, когда в зале крутили кино. Все ходячие тогда, балагурия и топяя разношенными огромными тапочками, дружно двигались в клуб на четвертый. В палате становилось тихо и пустынно. Оставались только я да Саша Юрченко – обожженный танкист, у которого сгорело все: и нос, и глаза, и уши, и волосы, да какой-нибудь тяжело дышащий послеоперационный больной. Кстати, два слова о Саше Юрченко. Как я сказал, у него сгорело на лице все. Но осталось обоняние. И не просто осталось, а по каким-то неизвестным причинам, может быть, в качестве компенсации, обострилось в десятки раз. Предметы и качество их Саша определял не столько на ощупь, сколько поднося каждую вещь к носу. Любая ищейка могла бы позавидовать Сашиному обонянию.

– Так, – например, говорил он, когда приносили обед. – Это хлеб черный, а это белый. А котлетка эта не говяжья, повар явно брешет, а самая настоящая свинья.

– Так, так, – говорил он в другой раз, – где же мой стрептоцид? – Нюхал одну таблетку, другую, третью. – Нет, это фталазол, а это пирамидон... Ага, вот и стрептоцид!

Иногда он отмачивал свой козырной номер. В часы посещений, когда к раненым приходили гости, он уходил на перевязку, а возвратившись, вставал в дверях и, нервно шевеля ноздрями, поводил лицом то вправо, то влево. А затем с видом великого иллюзиониста восклицал, указывая перстом:

– Ага, значит, так: вот тут одна женщина... вот здесь вторая, а вот там будет третья! Здравствуете, милые!

Женщины страшно смущались и даже сердились, а Сашка, довольный, победоносно хохотал. При этом самым удивительным было то, что Сашка Юрченко ни разу не ошибся. Как он это все определял, я не знаю, думаю, что благодаря запахам одеколона или духов. Раненые никогда не душились. Впрочем, почти не пользовались духами и медсестры. А их Сашка тоже определял безошибочно. Однажды старшая сестра отделения, имени ее не помню, помню только, что за крикливый и шумный характер раненые звали ее за глаза Штурмбанфюрер, сказала однажды, беззлобно улыбаясь, Сашке:

– Ты, Юрченко, напрасно гордишься своим обонянием. Смотри, ни одна барышня замуж за тебя не пойдет. А что? Очень даже просто, кому приятно иметь такого мужа?! И ведь ладно бы узнавал каких-нибудь нерях, а то ведь самых стерильных сестричек обнаруживаешь! Так что подумай над моими словами!

Сашка обиделся и долго потом не демонстрировал своих уникальных способностей.

Когда крутили кино, Сашка на четвертый этаж не ходил, а, пользуясь наступившей тишиной, с удовольствием укладывался всхрапнуть на час-полтора. Я, напротив, чтобы не чувствовать каким-то изгоем, приучил себя плодотворно работать именно в это время. Брал карандаш, папку с линейками и вставленным листом бумаги и писал стихи не очень еще устойчивыми и ровными буквами.

В такую-то минуту, незадолго до выписки, и явилась ко мне вместо Лиды ее старшая сестра Нина. Суховато поздоровавшись, она спросила прямо и без обиняков:

– Ответь мне, пожалуйста, откровенно, ты действительно решил жениться на моей младшей сестре? По крайней мере она вчера это так и объявила и родителям, и бабушке, и мне. Но я хочу услышать это от тебя самого. Так это или не так?

– А почему, собственно, это вызывает у кого-то удивление? – откладывая карандаш, озадаченно спросил я. – Лиде уже восемнадцать лет. Мне скоро будет двадцать два, и мы вправе решать такие вопросы сами. Разве не так? Тем более что после долгих хлопот райисполком наконец дает мне собственную комнату.

Голос у Нины, если она не делает его искусственно медовым, что случалось довольно часто, при обычном своем звучании был металлически резок. Когда же она приходила в ярость, вот как сейчас, производил впечатление стали, царапающей по стеклу. В подобных случаях две серые мыши за ее очками, оскалившись, готовы были вцепиться вам в тело:

– Довольно! Хватит морочить мне голову! Какого беса тебе еще нужно?! Конечно, я не собираюсь тебе ничего навязывать, но если тебе нужна настоящая верная жена, то, вне сомнений, такой женой была бы для тебя я! А во-вторых...

– А во-вторых, – тут уже не выдержал я, – а во-вторых, для таких отношений у людей должна быть любовь. Разве не так? А какие чувства связывали нас с тобой? Да никаких же! Это во-вторых, а во-первых, насчет верности я на твоём месте даже не решился бы говорить. Вот ты твердила мне о своих чувствах, а не успел я уйти на фронт, как ты сошлась с каким-то пьянчужгой Борисом Киселевым. Едва я познакомил тебя со своим товарищем Толей Изумрудным, как ты полезла к нему целоваться. Э, да что говорить о твоей верности. Я тебя, слава Богу, изучил предостаточно. Не хотел тебя обижать, да и теперь не хочу. Но насчет любви и верности болтай и хитри с кем угодно, но не со мной! Поэтому давай говорить спокойно и без лукавых эмоций. Я со школьных лет отношусь к тебе по-доброму, и ты это знаешь. И буду так относиться и впредь. Но давай ничего не придумывать. Ты хочешь правды, и я тебе ее говорю: да, у меня впереди труднейшая дорога. И что у меня получится, я пока и сам хорошенько не знаю. К Лиде у меня сейчас просыпается большое и настоящее чувство. И мешать этому не должен никто. В конце концов, повторяю, мы уже взрослые люди и командовать тут не дано никому.

– Нет! Не хочу! Не согласна! – В голосе Нины кипит раскаленный металл. – Она тоже мне не чужая. И я, как старшая сестра, этого не хочу! Я же все превосходно знаю, за тебя рвутся замуж полным-полно невест: и Наташа, и Лена, и Шура, и Лида. Вот, пожалуйста, выбирай и женись! А на Лиде жениться не смей! Вот так и запомни!

– А почему, собственно, такой гнев и такой крик? У нас в отношениях с Лидой все ясно и все чисто. Я рассказал ей о себе все, все без утайки! И о том первомайском вечере у тебя и вообще все-все. Она превосходно знает, и кто я и что я, и как собираюсь работать и жить. Так что давай больше не спорить. Договорились? А то ты уже почти и Сашку Юрченко разбудила.

Несколько минут Нина молчала. Но я чувствовал, что это было молчание раскаленной добела бомбы. А затем, склонившись ко мне и едва сдерживая дыхание, она раздельно произнесла:

– Запомни: я с этим не соглашусь никогда! Кто угодно, но не она! И если вы все-таки это сделаете, я буду бороться против этого брака и мстить вам всю жизнь! Знай и помни, всю свою жизнь!

Слова сыпались, как горящие угли. Затем, вскочив, она отбросила ногой стул и выбежала из палаты.

Всю жизнь не понимал, да и сейчас не понимаю вот такой патологической злости. В чем я был перед ней виноват? Абсолютно ни в чем! Воистину это была та самая Кобра, которую еще в школе дружно ненавидел весь класс. Да, весь, кроме, кажется, одного идиота – меня. Впрочем, нет, за доброе и душевное отношение к озлобленному больному существу мне не стыдно и по сей день, хотя, если честно сказать, то горя от такого своего отношения я познал много. Но не будем о добром жалеть!

Я не придал большого значения угрозам Нины. Что она может сделать мне, если я честен и прав?! А ревность и злоба вещи непрочные. Как нахлынули, так и отхлынут. Но я, кажется, заблуждался. Существа, главным смыслом жизни которых является совершение зла, меняться уже не могут. И я убеждался в этом не раз. И вот еще одна мысль. Существует такая крылатая фраза: «Кто может пламенно любить, тот может жарко ненавидеть». Думаю, что это абсолютно не так. Человек, способный на большую и настоящую любовь, не в состоянии творить сколько-нибудь серьезное зло. Ибо зло ему глубоко неприятно и чуждо. И напротив, существо, исполненное пламенной ненавистью к одному человеку или ко многим, ни на любовь, ни на добрые поступки уже неспособно. Любовь и ненависть – это не дополняющие друг друга чувства, а напротив, вещи взаимоисключающие. Нина была существом, рожденным для ненависти. Физическое несчастье удесятряло эти качества, и ничего уже с этим поделать было нельзя.

Накануне выписки из госпиталя мне предстояло пройти через нелегкое нравственное испытание. Иными словами, мне надлежало комиссоваться, то есть пройти комиссию ВТК, определяющую годность или негодность воина к строевой службе, а в случае непригодности установить ее степень, то есть группу инвалидности. О том, что воевать мне более не придется, я знал сразу, с первого госпитального дня. И все-таки по своему положению – по довольствию, по документам – я был еще офицером и продолжал носить звание гвардии лейтенанта. Когда меня привозили в очередной госпиталь, то сразу же помещали в офицерскую палату. Раз в месяц ко мне приходила госпитальная бухгалтерша и просила подписаться в ведомости на офицерскую зарплату, основную часть которой по офицерскому аттестату я переводил маме. Святая наивность! Еще находясь на фронте и переводя маме деньги, я был уверен, что помогаю ей материально. При этом мне и в голову не приходило, что мама моя (а мне надо было бы все-таки ее знать!) не тратит из этих денег ни единой копейки, а аккуратнейшим образом кладет на сберкнижку для меня и до моего возвращения. Приходили ли в госпиталь письма, они были адресованы «лейтенанту Асадову». При всяком официальном обращении мне продолжали говорить: «товарищ лейтенант», ну и так далее. Короче говоря, даже раненый, я продолжал быть офицером и как бы оставался еще в строю. То есть я все равно не оставшийся где-то там за бортом человек, а по-прежнему гвардии лейтенант Асадов. И это свое значение, конечно, имело. А вот теперь я шел на комиссию и все менялось. В комнату, где заседала комиссия, входил гвардии лейтенант, а выйти из комнаты должен был инвалид Отечественной войны I группы...

Нет, дорогие мои товарищи, в двадцать два года принять на плечи такое звание очень непросто!.. Ночь перед этой комиссовкой я почти совершенно не спал. Часа в два или три ночи, когда я лежал и молча курил, Боря Шпицбург поднялся со своей кровати. Скрип его койки я

узнавал моментально. Натянув застиранную пижаму и сунув ноги в необъятные тапочки, он подошел ко мне, сел на краю кровати и вытянул свою негнущуюся ногу.

– Ну что, мужчинка (мы так частенько обращались друг к другу в шутку), не спишь?

– Как то есть не сплю? Сплю превосходно!

– Это я вижу... Только этого тут никому ведь не миновать. Кому первую группу, кому вторую, кому третью... Обидно, конечно. А мне не обидно? Но главное все же не в этом, а в том, что мы с тобой будем делать после того, как нам дадут отсюда пинка. Ты свой путь уже прекрасно знаешь, разве не так? – Букву «р» Боря сильно картавил, и она у него раскатывалась, как горошина в милицейском свитке. – Все-таки письмо Чуковского, которое ты получил, кое-что значит. Разве не так? Я понимаю, что погоны для тебя в данный момент опора, а не смысл жизни. Как, впрочем, и для меня. Я после выписки поеду в Киев, опять поступать инженером на родной «Арсенал». Вот и будем друг к другу ездить в гости, я к тебе в Москву, а ты ко мне в Киев. Договорились?

Мы улыбаемся друг другу и не знаем еще, что наш полушутливый договор и в самом деле станет твердым и нерушимым не на год, и не на десять, а на всю жизнь! И что в любую трудную минуту каждый моментально будет ощущать надежное плечо друга!

Несмотря на то, что маму свою я всегда любил горячо и нежно, став уже взрослым, возвращаться вновь в комнату моего отчима мне категорически не хотелось. И еще лежа в госпитале, я стал выхлопывать через райисполком свое собственное жилье. Хлопоты были долгими и трудными, но в конце концов увенчались успехом, и мне, как фронтовику и раненому на войне командиру, дали шестнадцатиметровую комнату в коммуналке. Это была такая победа и радость, что я и по сей день помню адрес своего первого послевоенного жилья: Москва, Зубовский проезд, д. 2, кв. 14. И хотя комната моя не была особенно тихой, так как одна ее стенка граничила с кухней, все это не имело никакого значения. Главное, у меня теперь был свой собственный адрес, и я жил не у кого-то, а у себя, в своей персональной комнате! И так уж случилось, что получил я эту комнату в знаменательный для себя день – 7 сентября 1945 года, когда мне ровно стукнуло 22. Получив взамен ордера в домоуправлении ключ, я вместе с мамой и Лидой сам открыл дверь и впервые перешагнул порог собственной комнаты. Два окна с покосившимися переплетами, обшарпанные обои и выщербленный щелястый паркет, по сравнению с госпитальной палатой, где двадцать пять человек набиты, как папиросы в коробку, это были царские хоромы!

Ну, а если учесть еще то, что с самого первого дня рядом с тобой будет ласковое и нежное существо по имени Лида, то невзрачная комната в коммуналке вообще становится раем!

Ну, что до «райских кущ», то они у нас целиком состояли из той нехитрой мебелишки, что подарила нам в тот же день подруга мамы, учительница и удивительно добрая душа Ольга Александровна Рождественская. Так появились в нашей комнате односпальная железная кровать с матрацем, одеялом и подушкой, небольшой деревянный стол да несколько венских стульев. У Ольги Александровны погиб на фронте приемный сын, и она отдала мне его шубейку, зимнюю шапку и валенки. Мама принесла несколько кастрюль, тарелок и ложек, полотенца, простыни и наволочки. Большого принести ей не удалось, так как за каждой вещью в доме внимательно следил скуповатым оком Евгений Михайлович – ее муж. Однако и эта нехитрая утварь казалась нам небывалой роскошью. Молодость в любой обстановке все равно молодость! А когда люди мечтают о счастье, то разве покажется им узенькой односпальная железная койка?! Да, именно койка, а не кровать! А если учесть то обстоятельство, что молодые – один тоньше другого, то и тем более. Я, например, после госпиталя весил при росте сто семьдесят три сантиметра всего сорок шесть килограммов.

Война кончилась 9 мая 1945 года. Но, строго говоря, окончилась она тогда не для всех. Для матерей и жен, получивших похоронки, она все равно продолжалась. Для раненых солдат тоже. Мой первый мирный день наступил 7 сентября 1945 года, когда я впервые перешагнул

порог собственной комнаты и провел в ней свою первую семейную ночь. Да и то, пожалуй, мир этот очень условный, так как через три месяца я снова лег в госпиталь на завершение операций. Ну, а если говорить о последствиях этой войны, то для меня она продолжается и по сей день, да и практически не кончится никогда...

...Сегодня 31 декабря 1989 года. Завтра – новый, 1990 год! На душе у меня тихая и умиротворенная радость. Здесь, на моей даче в Красновидове как-то по-особенному легко живется и пишется. Впрочем, немалую долю в это мажорное настроение вносит Галя – годами проверенный и насквозь высвеченный человек. От нее идет столько любви и тепла, что оно ощущается даже через кирпичную стенку, за которой в кухонном царстве Галя готовит новогодний ужин и печет душистые пироги. А внучка моя, одиннадцатилетняя Кристина, закрывшись в гостиной, сосредоточенно рисует на открытках и пишет нам новогодние поздравления. Вот они: два самых дорогих для меня человека! Кристина и Галя. Третьего – моей мамы, к сожалению, уже больше нет. Кристиночка звонким голоском мурлычет какую-то песенку. Сейчас она наденет лыжи и побежит с девчонками кататься по влажным сугробам. Декабрь нынче на редкость теплый, до 20-го числа была даже весенняя капель. Сейчас немного подморозило, и Мурзилочка моя (так я ласково называю Кристину) рада-радехонька лыжам и санкам. Сейчас, когда я пишу эти строки, она вдруг тихо вошла, словно почувствовала, что я думаю в эту минуту о ней, обняла меня за шею, ласково поцеловала и, засмеявшись, убежала из кабинета. А я медленно листаю страницы моей памяти в обратную сторону... Я знаю, что там, позади, будет много трудного и тяжелого. Много будет такого, о чем лучше было бы не вспоминать. И я, может быть, никогда бы делать этого и не стал, если бы у меня не было спасительного средства. А заключается оно в том, что в любую секунду я могу захлопнуть страницы памяти и тут же вернуться в сегодняшний день, где за окном весело щебечут синицы, в гостиной напеваает какую-то песенку Кристина, а над плитой, покрасневшись от электрического жара, волшебствует Галя, которая печет пироги с таким высоким искусством, как читает со сцены стихи и печатает мои рукописи на машинке. Предвижу удивленный вопрос: «Но при чем же тут Галя. Красновидово и Кристина? Разговор-то ведь шел совсем о другом, о комнате в коммунальной квартире, о молодости, о надеждах на счастье и о тоненькой покорной и ласковой Лиде с тихим голоском и грустинкой задумчивых глаз? Где же это и как ко всему сказанному ранее отнестись?»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.